



№ 1 (15), март 2017 Издание Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России»

ЗОЛОТОЕ СЛОВО

Да будет же **честь** и слава нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет как гордая, величественная река — шумит, гремит — и вдруг, есть ли надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!

Язык наш выразителен не только для высокого **красно-речия**, для громкой живописной поэзии, но и для нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности. Он богаче гармониею, нежели французской; способнее для излияния души в тонах; представляет более аналогичных слов, то есть сообразных и с выражаемым действием: выгода, которую имеют одни коренные языки.

Н. М. Карамзин

Бессмертие народа — в его языке.

Ч. Айтматов

Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью.

А. Н. Толстой

Среди великолепных качеств нашего языка есть одно совершенно удивительное и малозаметное. Оно состоит в том, что по своему звучанию он настолько разнообразен, что включает в себе звучание почти всех языков мира.

Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный **русский язык**.

По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности.

К. Г. Паустовский

Ольга ФОКИНА

...И до глубинной деревеньки
Дошли раскол и передел:
У вас всю ночь считают деньги,
Мы — без гроша и не у дел.

Вы натянули шапки лисьи,
И шубы волчьи вам к лицу.
Мы — воспитали, вы — загрызли,
Мы — на погост, а вы — к венцу.

Такое звёзд расположение!
Таких «Указов» звездопад:
Вы — в господа, мы — в услуженье
Да на работу без зарплат.

На вашей улице — веселье:
Еда — горой! Вино — рекой!
Святые звёзды окосели,
Смущаясь вашею гульбой.

У вас всю ночь огонь не гаснет!
У нас — ни зги во всём ряду!
На нашей улице — не праздник,
...Но я на вашу — не пойду.

ИЗ ЖИЗНИ ВОЛОГОДСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МЫ БЫЛИ ПРАВЫ!

В августовском номере «Вологодского литератора» за 2014 год Вологодским региональным отделением Союза писателей России и Вологодским отделением Литературного фонда России было опубликовано (и отправлено в Кремль) обращение к Президенту и Правительству Российской Федерации с просьбой о признании Донецкой и Луганской народных республик. Напоминаем текст этого обращения:

«Мы приветствуем слова Президента Российской Федерации, сказанные перед представителями дипломатического корпуса России: «Хочу, чтобы все понимали: наша страна будет и впредь отстаивать права русских и всех людей, считающих себя русскими, и использовать для этого весь арсенал имеющихся средств, от политических и экономических до предусмотренных в международном праве гуманитарных операций, право на самооборону».

Мы обращаемся к Президенту и Правительству Российской Федерации с просьбой о **юридическом признании** Донецкой и Луганской народных республик. Просим защитить население Новороссии от физического истребления киевскими властями».

И вот, 18 февраля этого года, Президент подписал Указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Речь идет о документах, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей независимой.

Таким образом, согласно указу Главы нашего государства, граждане ДНР и ЛНР могут въезжать на территорию РФ без оформления виз «на основании документов, удостоверяющих личность, выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов».

Мы надеемся, что этот документ — первый шаг к полному признанию сражающихся за свою жизнь и независимость республик.

Вологодские писатели

ЛИТУРГИЯ ПОСЛЕ БЕЗМОЛВИЯ

В праздник Богоявления в храме во имя священномученика Власия, епископа Севастийского, впервые за 88 лет была отслужена Божественная Литургия.

Это стало возможно благодаря Общине Власьевского храма, учредителями которой выступили известные вологодские писатели.

День Святого Богоявления — Крещения, стал двойным праздником для тех, кто пришёл во Власьевский храм в центре Вологды. Здесь настоятель иерей Николай Толстиков совершил Божественную Литургию — впервые за 88 лет.

Почти век простоял храм в безмолвии. И вот в нём вновь зазвучала молитва. Передать то, что переполняло прихожан, очень трудно.

Их довольно точно выразил главный редактор журнала

«Вологодский лад» Андрей Сальников, который участвовал в Божественной Литургии:

«В прошлом ещё году Власьевскую церковь занимал магазин, но что это храм, люди, конечно, знали всегда, — отметил он на своей странице в Интернете. — И хотя снесена колокольня (одна из самых высоких в Вологде, кстати!), уничтожены купола и кресты, разобран алтарь — храм в этом многострадальном здании угадывался, что называется, на раз. Это, однако, не мешало размещать под сводами то хлебо-завод, то фабрику художественных изделий, то магазин. Так бы и меняли лавки на склады, когда бы в 2015 году не был учрежден здесь православный приход.

Верите — нет, но это пустое пространство, только-только освобождённое от полок с товарами, с началом молебна стало выглядеть именно храмом. Стоило батюшке дать возглас — торговое, в общем-то, по всем приметам помещение на глазах превратилось в храм. И не потому так произошло, что посередине поставили столик с иконами, и даже не потому, что батюшка стоял рядом в облачении, — просто помещение стало Домом молитвы, а не чего-либо другого. Молитва вернула храму суть».

Думаю, эти чувства Андрея Сальникова разделяли многие. Действительно, Община храма необычная. Всё началось со встречи группы вологодских писателей с владыкой Игнатием, митрополитом Вологодским и Кирилловским, где состоялся заинтересованный разговор о сотрудничестве. Одним из итогов этой встречи стал указ правящего архиерея об образовании прихода вологодского храма священномученика Власия, епископа Севастийского г. Вологды. Учредителями прихода выступили известные поэты и прозаики Ольга Фокина, Роберт Балакшин, Геннадий Сазонов, Виктор Бараков, Михаил Карачёв, Александр Цыганов и другие. Настоятелем храма назначили священника Николая Тостикова, члена Союза писателей, известного прозаика.

Зимой на улице у стен храма состоялся первый молебен — это было 24 февраля 2016 года. Нам говорили, что придётся ждать почти два года — такой срок аренды храма. Но человек полагает, а Бог располагает. И вот, не прошло и года, а внутри храма уже состоялась первая Божественная Литургия.

Настоящую радость испытали и вологодские писатели, и прихожане окрестных улиц.

Этот храм, построенный, согласно некоторым источникам, в 1714 году, был одним из самых больших в Вологде, в 1818 году в нём насчитывалось 600 прихожан. 16 июля 1929 года церковь закрыли для Богослужений.

То, что храм передали на попечение Общины, учреждённой писателями, редкий случай в истории Русской Православной церкви. Но у него есть и своя подоплёка. Нынешние вологодские писатели продолжают традицию, заложенную Василием Ивановичем Беловым и Александром Алексеевичем Грязевым. На свои средства и своими руками Василий Иванович восстановил Никольский храм рядом с родной деревней Тимонихой, а Александр Грязев первым организовал и издавал газету «Благовестник», которая теперь под таким же названием выходит как епархиальный журнал.

Всяких дел в храме — выше головы. Но это не смущает членов Общины, каждый старается внести свой вклад в доброе дело возрождения Храма.

Геннадий САЗОНОВ,
член Союза писателей России

ПОМОЩЬ «ПИСАТЕЛЬСКОМУ» ХРАМУ

Продолжается сбор средств на иконостас только что открытого храма Священномученика Власия, епископа Севастийского, основой прихода которого является группа писателей Вологодского отделения СП России. Средства можно направлять по следующему счету:

Местная религиозная организация Православный Приход Храма Священномученика Власия, епископа Севастийского г. Вологды Вологодской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)

Номер расчетного счета: 4070381011200000599

Банковские реквизиты:

БИК 041909644

Корр. Счет 30101810900000000644

Доп. Офис № 8638/0217

Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятельность прихода».

Денежные средства можно принести и в здание писательской организации на ул. Герцена, д. 36

Опубликованы стихи нашего поэта-земляка Алексея Шадринова и статья о нем в новой антологии

Уйти. Остаться. Жить. Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012–2016) / Сост. Б. О. Кутенков, Е. В. Семёнова, И. Б. Медведева, В. В. Коркунов. — М.: Лит-ГОСТ, 2016. — 460 с. — 500 экз.

Сборник «Уйти. Остаться. Жить» — это антология литературных чтений «Они ушли. Они остались», главная цель которых — сохранить наследие рано ушедших поэтов, стать их голосом, собрать по крупицам их короткие и яркие жизни и пересказать другим: чтобы помнили, чтобы знали. Или можно сказать словами Владимира Коркунова, одного из составителей антологии: «Уйти. Остаться. Жить» — окно в пространства, оставленные молодыми поэтами, ушедшими на рубеже XX–XXI веков».

В антологию вошла 31 подборка стихотворений рано ушедших поэтов (в том числе Алексея Шадринова. — Ред.) и 32 мемуарных и литературоведческих эссе-послесловия (об А. Шадринове пишет австрийский исследователь, его заметку публикуем в разделе «Литературоведение». — Ред.), а также теоретические статьи о проблеме ранней смерти в поэзии.

Книга получилась строгой и печальной, а ещё — немного мистической. Есть что-то необъяснимое и немного жуткое в сверхчувствительности поэтов и в их невероятной интуиции: практически каждый предсказал свою раннюю смерть, иногда — с ужасающей точностью...

В. ГАЛКИНА
(<http://lgz.ru/article/-47-6577-30-11-2016/memorial-neravnodushiya/>)

НАГРАДА ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и личный пример офицера России — защитника своего Отечества, за верность суворовским традициям, за активную жизненную позицию и творческий подход в многолетней работе офицерского клуба «Честь имею» (г. Санкт-Петербург) член Союза писателей России, подполковник Созин Сергей Аркадьевич (г. Череповец) награжден офицерским кортиком.

Я ТОПЛЮ деревянную печь. Русскую печку. Печь, которую много лет топила моя мама. В этой печи приготовлены тонны еды — для семьи, для домашних животных. А я топлю её второй день просто для тепла, приехав в родной дом на три дня, поздней осенью.

Постоянно в нём никто не живёт, и дом выстыл. Последние гости уехали в конце сентября, когда ещё и листья не все облетели. А сейчас уже и снег пришлось разгрести.

Вчера так же нагонял температуру, истопив сначала печь на кухне, потом голландку в другой комнате, где стоят кровати и прочая нехитрая мебель деревенского пятистенка.

Давно уже нет в хлеву коровы, нет и домашней птицы — всех тех, кто необходим был в хозяйстве, чтобы жить.

Чтобы просто жить...

Сейчас, когда пишу привёз с собой, и никого из домашней живности кормить не надо, просто топлю печь. Чтобы, согрешившись, неспешно подумать о жизни. О пережитом. А может быть, и о будущем, которого осталось гораздо меньше, чем прожитого.

Дрова в печи постепенно истаивают, становясь всё тоньше в объёмах огня. И крепкое, витое полено также истаивает, не уйдя от общей участи. Вот и оно превратилось в жаркие угли, с горящим над ними синим огнём. Я пошевелил их кочергой, сдвинул в жаркую кучку, чтобы выгорел и угарный газ.

И всё же небольшая головешка осталась.

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ. XXI ВЕК

Юрий МАКСИН

РЯДОМ С ПЕЧЬЮ



Она, задымив, вспыхнула, и ещё некоторое время будет гореть, не давая вовремя перекрыть заслонку, унося в трубу печное тепло.

Не так ли и пороки людские уносят наше душевное тепло, наше драгоценное время?

А головешка образовалась из толстого берёзового сука. Вот и жди теперь, когда сгорит этот сук, который, конечно же, я заприметил, когда складывал дрова в печь. Надеюсь, что сгорит он в одно время со всеми. Но против природы, действительно, не попрёшь.

Дров хватит ещё не на один год, ведь приезжаем в родительский дом не зимой, а поздней весной да ранней осенью. Многие поленья пробуравлены жучком-древоточцем и, как мукой, обсыпаны белым налётом. Привольно было топить берёзовые поленья.

Только вот сук оказался не по зубам, или не по вкусу.

Вот и он, непокорный, истаил в угольном жару. Я думал, на это уйдёт больше времени.

Теперь одни угли остались. И почти стыдно перед печью, что опять в ней ничего не сварено...

Родной мой пятистеноч. Папа, мама и трое детей — вот она формула воспроизводства нации. Пятеро — в пятистенке.

Из мебели в доме: два крепких стола, сработанные дедом Степаном; сервант, трюмо, книжный шкаф, тумбочка под телевизор, железные кровати, диван — купленные в магазине. Этого было и остаётся достаточно в домашнем обиходе. А всё остальное — роскошь, как к этому ни относиться.

«РОССИЯ, ТЫ ДЫШИШЬ МОЛИТВОЮ»

(О духовных истоках поэзии Н. П. Сидоровой)

*Недолго дышит, расцветая,
В подлунном мире красота.
О вечной радости вздыхая,
Зовёт высокая мечта.*

*Туда, где Ангелы, блистая,
Поют и славят Божество,
Где ждёт любовь в преддверии рая,
Где вечной жизни торжество!*

Это чувство единения с природой, как с Божественным откровением, даёт поэту силы переносить все невзгоды и беды и выходить из них непобеждённой:

*Когда душа припоминает звуки,
Неслыханные прежде на земле,
То зарастает след от чёрной муки
И зеленеют травы на золе.*

Н. П. Сидорова с большим мастерством владеет многими стилистическими средствами создания художественной композиции стихотворений. Причем всегда они подчинены замыслу автора, ритму его лирического чувства. Например, как поэтический период построен текст следующего стихотворения:

*Когда весь мир тебя встречает нemo
У бездны на краю,
Поверь, мольбу твою услышит небо,
Где ангелы поют.*

*Когда души печаль коснется тенью,
Вглядишься в огонь свечи.
Внимай в тиши таинственному пенью.
Не плачь, молчи, молчи!*

*Настанет день и по земным дорогам
Любовь опять пройдет.
Ликуй, душа, ликуй: во славу Бога
Незримый хор поет.*

Такое композиционное оформление содержания этого стихотворения приводит к нарастанию (амплификации) духовного и эмоционального напряжения в двух первых строфах и разрешению его — очищению души лирического героя в последней строфе. Аристотель назвал это словом *катарсис*, что в греческом языке значит — *очищение*.

Очищается душа и при чтении стихотворений по-детски простых, но наполненных силой радости:

*Радуйся! Радуйся! Радуйся!
Сердце, ликуя, поет.
Радуга! Радуга! Радуга
В облаке синем цветёт!*

*Небо сиянием полнится,
Верится в добрую весть.
Все повторится, исполнится —
В облаке радуга есть!*

В этом простом, но эмоционально сильном стихотворении произошло чудо воскресения слова *радуйся*. В поэзии слова нередко «омолаживаются»: воскресают из глубин праязыка их древние смыслы, обнаруживается их первоначальный семантический синкретизм, их древняя полифония. Так, и трижды повто-

ренный возглас *Радуйся!* здесь полифоничен по смыслу. Это и призыв радоваться («сердце, ликуя поет»). И пожелание «мира благого», как определил этот возглас когда-то святитель Макарий, митрополит московский (*Небо сиянием полнится, / Верится в добрую весть. / Все повторится, исполнится — В облаке радуга есть!*). Это, наконец, и древняя форма приветствия (такая же, как наше современное *Здравствуй!*), на которую указывает прот. Георгий Дьяченко в «Полном церковнославянском словаре» (с. 535). Удивительно, что, и не зная указаний словарей древнерусского и церковнославянского языков, все эти смыслы возгласа *Радуйся!* мы почувствовали, благодаря поэтическому мастерству Н. П. Сидоровой. Можно предполагать, что она прозрела духовную силу данного слова, не только благодаря поэтической интуиции, но и читая акафисты, в икосах которых каждое обращение к Богородице или святому начинается со слова *Радуйся*. Приведем пример из акафиста Пресвятой Богородице в честь иконы её «Скоропослушница»:

*Радуйся, Бога нашего Мати;
радуйся, в рождестве и по рождестве Дево.
Радуйся, яко тя блажат вси роди;
радуйся, яко сотвори Тебе величие Сильный.
Радуйся, яко призре на смирение Твое Господь;
радуйся, яко возжеle доброты Твоя Царь царей.*

Лирический сюжет многих стихотворений Н. П. Сидоровой основан на духовных переживаниях и иногда сродни молитве:

*Не плачь, душа, не плачь о юных днях
прекрасных.
Мелькнула молодость, как яркая звезда
Средь мелкой суеты, среди тревог напрасных.
И лишь Господь с тобой всегда.*

*О счастье на земле давно мечты умолкли,
И в памяти большой сверкают иногда
Обманутых надежд печальные осколки.
И лишь Господь с тобой всегда!*

*Когда настанет срок, и нас о том не спросят,
Уходят ближние неведомо куда,
Они любовь свою таинственно уносят,
И лишь Господь с тобой всегда.*

*Не плачь, душа, не плачь, в молитве утешенья
Искала ты, как сладость райского плода.
Проходит всё: и страх, и горечь искушенья,
И лишь Господь с тобой всегда!*

А есть у поэта и просто стихи-молитвы, обращённые к Богородице:

Неувядаемый цвет

*Я пред Тобой молча стою.
Призри на бедную душу мою.
Кто исцелит, если не Ты,
Неувядаемый цвет чистоты?*

Авторов духовных стихов объединяет ещё одна тема — Святая Русь как национальный идеал. Такие стихи есть и у Н. А. Клюева, и С. С. Бехтеева, и у о. Иоанна Шаховского, и у о. Романа Матюшина. В стихотворении Н. П. Сидоровой «Россия сокровенная» зву-

Сейчас множество домов в деревне скуплено дачниками. И они засыпали окружающий лес ненужной им мебелью прежних хозяев.

Сколько раз, собирая грибы, вдруг наткнулся на гору вещей — внутренний мир деревенского дома. Проходит год, два — гора оседает, зарастает травой, и из неё, как из огромного старого дивана, начинают вылезать пружины и прочие металлические части ушедшего бытия...

Всему есть износ. И угарный газ выгорел. Пора закрывать заслонку.

В комнате залетал вышедший из анабиоза комар.

Пора закрывать и голландку. Эта печь только для тепла. А в русской стоило всё же сварить и суп, и кашу. Нельзя её уподоблять голландке.

И не надо бы спешить из родного дома. Сегодня прогуляясь по лесу, увижу много следов его жителей. И буду дышать, дышать и дышать морозным воздухом. И слушать тишину.

Теперь здесь везде тихо, нет ни машин, ни колхозов, ни ферм, ни фермеров...

На дым из трубы прилетела сорока. Обрушила снег с веток яблони. Говорят, сорока к гостям. Но некогда ждать поздней осенью в наш родительский дом. Все уgomонились с приближением холодов. Завтра я вынесу сороке остатки пищи.

Пусть порадуетса городскому хлебу.

чит особое чувство православных людей, которое подкашивает сердце: «Сила Божия в немощи совершается» (2 Кор. 12:9-10).

*Россия моя — страстотерпица.
Повидав палачей и пройдох,
Лампадка тихими теплится,
Вознося свой молитвенный вздох.*

*За тех, кто испил полной мерою
И страданье, и горечь потерь;
За тех, кто с горячею верою,
Всё против, догорает теперь.*

*Тебя ли Господь не помилует?
Ты смеёшься и плачешь светло;
Умеешь ты крестною силою
Отражать встающее зло.
Блажен, кто измученный битвою,
Не предав, претерпел до конца...
Россия, ты дышишь молитвою
И в молитве восходят сердца!*

Поэзия Н. П. Сидоровой обладает мудрой силой: раскрывая души читателей, приводить их к покаянию и тем самым духовно укреплять их.

Покаяние

*Осуши наши слёзы, Мессия,
Ради подвига вечной любви!
Терпеливая мать Россия,
Мы безумные дети твои.*

*Твои храмы судили с размаху,
Чтобы гордо стоять не могла.
И ложились безвинно на плаху,
Словно головы, их купола.*

*Сколько мы, погибая безвестно,
Проклинали свой горестный край!
Забывали молитвы и песни
Под вороний неистовый гай.*

*На земле возжелавшие рая,
Испытали пылающий ад...
Ждём чего, изумлённо взирая
На съедающий души разлад?*

Да, чего же нам ждать, «изумлённо взирая на съедающий души разлад?» Не пора ли соборно соединиться ради Христа и любви к нашей терпеливой матери России?

Наше Отечество богато прекрасными поэтами, которые несут людям свою благую весть — отзыв Благой Вести Господа. Среди них и поэт Наталия Петровна Сидорова. И не случайным совпадением является то, что она родилась 24 мая — в день памяти святых равноапостольных святых Кирилла и Мефодия — создателей славянской письменности.



Людмила ЯЦКЕВИЧ,
профессор,
доктор филологических наук

О ТРАДИЦИЯХ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

ВОЛОГОДСКАЯ поэтесса Наталия Петровна Сидорова — достойная продолжательница лучших традиций русской классической поэзии. Её стихотворения своим проникновенным поэтическим чувством согревают сердце читателя и наполняют духовной радостью и красотой. Чистый голос души поэта преображает в нашем сознании образы обыденного видимого мира в образы Мира Божьего.

Поэтический символ *ледяная роза*, ставший названием одного из её стихотворений, необыкновенно глубок по содержанию: в нём воплощена мелодия вечно прекрасного начала в душе человека, того высокого идеала, из которого рождается мелодия любви.

*Где весна любовью бредит?
Холода царят на всей земле,
О тепле морозно грезит
Ледяная роза на стекле.
На границе тьмы и света
Как она бесстрашно хороша!
В ризы брачные одета;
Словно вещая примета,
На неё смотрю я не дыша...*

Образ ледяной розы на оконном стекле привлекает своей нерукоотворной гармонией, поэтому он сродни музыке, он кажется таинственным посланником из иного прекрасного мира. Не случайно поэт избирает его символом своей поэзии. О. Сергей Булгаков писал о поэтическом творчестве: «Оно чувствует себя залётным гостем, вестником из иного мира, и составляет наиболее религиозный элемент внерелигиозной культуры».

Для поэзии Н. П. Сидоровой характерен христианский взгляд на природу. Святитель Николай Сербский (Велемирович) так определил это особое видение природы: «Человек единственный на земле обладает создающим словом. Но вся вселенная говорит разными способами: либо словами, либо движениями, либо знаками. Следовательно, вся вселенная есть слово, но не самостоятельное и не самобытное, оно — отзыв того Слова, Которое было в начале и с Которого всё началось». Именно такое чувство природы испытывает лирическая героиня стихотворений Н. П. Сидоровой:

*Молчали птицы, чуда ждали,
Реку окутывал туман,
И тишиной звенели дали,
А мне казалось — пел орган.*

*В восторге замерли деревья,
Со мной роняя до утра
Святые слёзы очищенья
Души, открытой для добра.*

Святитель Григорий Богослов выразил эту мысль так: «Небо, земля и море есть великая, дивная книга Божия». Н. Сидорова проникновенно читает эту книгу и передаёт своё сокровенное знание в поэтических строках своих стихотворений:

*Мне звёзды чистые сияли,
И для меня алел рассвет.
Горел из беспредельной дали
Любви небесной тихий свет.*



ПОЭЗИЯ. XXI ВЕК

Василий СИТНИКОВ

От любви все в этом мире...

* * *

Легкий дым ковылей над лугами,
Невесомая зыбь синевы,
Я касаюсь босыми ногами
Переполненной солнцем травы.
Ожигаюсь о глубь поднебесья
В растворенной в лучах тишине,
И какая-то светлая песня
Пробуждается тихо во мне.
Будто вместе с мирской укоризной
Опроверг роковую молву,
Оттолкнулся от всей этой жизни
И почувствовал вдруг, что живу.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Тихо падает снег
На продрогшую землю,
У озер и у рек
Ели хмурые дремлют.
Обронили красу
Тополя и березы,
Тихо, тихо в лесу,
Все ждет вьюг и морозов.
Я люблю этот миг
Молчаливый, угрюмый,
Когда мир весь поник
В свои мрачные думы.
Когда осени след
Зализали дороги,
А зимы еще нет,
Но она на пороге.
Скоро, скоро зима
Занесет все тропинки,
Будут в шапках дома
И в косынке осинки.
Ведь не зря же у рек
Ели хмурые дремлют,
И спускается снег
На продрогшую землю.

* * *

Ты сегодня мне приснилась
Над притихшею рекой,
Даже сон, как божья милость,
Был отпущен мне такой.
Позабылась, изменилась,
Но за много долгих лет
Ты сегодня мне приснилась
В белоцветье давних мет.
Снова сердце раскалилось
На встревоженном огне.
Ты сегодня вдруг приснилась,
И опять не спится мне.

* * *

То звучнее, то тише
Под напором ветров
Дождь трезвонит по крыше
Про любовь, про любовь.
Растекаются струи
По стеклу, по стеклу.
Все твои поцелуи
Не к числу, не к числу.
Обещанья нелепы,
Если кровь холодна.
Изопью для укрепу
Молодого вина.
И уйду по дороге
В эту хмурую жуть.
Ты меня перед Богом
И людьми не забудь.
Этот день восходящий,
Что с улыбкой отверг,
И совсем не пропащий,
И пропащий навек.

ПРОЩАЛЬНОЕ

Р. Балакишину

Мы откроем двери,
В окна пустим свет.
По углам проверим
Всех, кого здесь нет.
Помолившись Богу,
Тихо погрузим.
«Дай нам сил в дорогу
И за все прости...
Дай души без меры,
Без краев любви,
Самой сильной веры
И благослови
Нас идти над бездной,
Не свернув с пути,
И тяжелый крест свой,
Как и Ты, нести...»
Ночью на привале
Вспомним в добрый час
Всех, кого мы знали,
Всех, кто знает нас.
Мы вина пригубим
И зажжем огни.
Всех, кого мы любим,
Господи, храни!..

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

В. Баркову

Предтеча больше, чем пророк,
Он порождает символ веры,
Когда в той вере одинок,
Когда все прочие лишь мерят
Его божественную суть,
Святую силу провиденья,
Он выбрал самый трудный путь
И лишь пред Богом на коленях
Перстами осеняет грудь.
Не плоть господня и не кровь,
Но плод Божественных творений
Он ист, и Божию любовь
Вложил в дыханье поколений...

* * *

Поразмыто сини
В думе горевой,
Нищая Россия
С пьяной головой.
Безутешно вянешь
В дреме и тоске.
Долго ли протянешь
На чужом куске.
Кончились «зачачки»,
Впору горевать,
На чужих подачках
Сытой не бывать.
Муторно и сиро
Божией рабе.
Помолись всем миром
О своей судьбе.

* * *

Пала ночь.
Земля сошла с орбиты.
Разлетелись в прах материки.
Нерожденной жизни на защиту
Яростно вставали старики.
Молодые водку допивали,
Зрелые в безумии тряслись.
Рулевой споткнулся на штурвале,
И корабль стрелой рванулся ввысь.
От земли родимой, от покосов,
Долг забыв и род предав людской,
Мы уходим по небесным плесам,
По вселенской впадине мирской.
Оплевали дедовы иконы,
Запалили отчие кряжи.
Нас не взять ни словом, ни законом,

Потому что было много лжи.
Путь наш млечный время заметелит,
Наш корабль поглотит встречный мрак,
Что ж вы всполошились? Ведь хотели,
Чтобы все извечно было так...

ПРЕЕМНИКИ

«А мы просо — сеяли,
Сеяли».
Зимы-весны — сеяли,
Сеяли,
Мор по плесам — сеяли,
Сеяли...
Рассевались — с семьями,
Семьями...
Запивали — бедами,
Бедами,
Заедали — горюшком,
Горюшком.
Своих лучших — продали,
Предали.
А прибудших — с горушку,
С горушку...
Проросли все зернышки,
Зернышки.
Ай, хватили — полишка,
Полишка...
Все росточки — выросли,
Выросли.
Нас разочком — вытрясли,
Вытрясли!..

* * *

Вы простите меня,
Если чем-то обидел,
Если что-то в запале
Не к месту сказал.
Вы войдите в мой дом,
Если он не обрыдел,
И открыто, с улыбкой
Взгляните в глаза.
Я дышу не теплом
Августовского неба,
А вдыхаю знобящую
Зимнюю стынь.
Я не пел
Сильным мира сего
На потребу,
Не продал и не предал
Родимых святынь.
Вы простите за то,
Что был в спорах не гибок,
Что стоял на своем,
Изводясь в кураже...
Чтобы было светло
От знакомых улыбок,
Чтобы было легко
Покаянной душе...

АКСИОМА

Благодарю тебя, о Боже,
За новый день, за новый свет,
За то, что путь земной проложен
Среди галактик и планет...
И путь людской, ничуть не хуже —
От сердца к сердцу — прямоком —
Через канавы, через лужи,
Галдящих птиц над сосняком...
За то, что всё, без исключения,
Подчинено Тобой, Творец,
Великой силе тяготенья —
Миров, галактик и сердец...

* * *

От любви все в этом мире:
Этот взлет и это пламя...
А река все шире, шире
Между нами, между нами.
Берега все выше, выше,
Голоса все глуше, глуше.
Ах, чего ж еще там ищут
Наши души, наши души.
И куда ж еще стремится
Обезжизненное тело,
В исковерканные лица
Кто-то сыпнул очень белым.
Быть шутом чистосердечным
Поздно в бытности угрюмой.
Уж давно о самом вечном
Наши думы, наши думы.
И когда на смертном ложе
Крест положат к изголовью,
Не жаль о том...
И все же —
Помяни меня — любовью.

Коле Осипову

ТАКИХ киосков сегодня в городе видимо-невидимо. Обитый железом, приткнулся возле кафешки, сбоку: за стеклянной перегородкой что-то с места на место переключалась немалодая женщина в большой черной шапке.

На руках у нее ничего не было, хотя мороз был еще тот, никого не жаловал. Правда, может, там у них обогревалось. Да, конечно, обогревалось, как же без этого, глянь, какая веселая прыгает, и холод ей не холод.

У Горелова имелись вязаные перчатки, только давнишние, старые, с дырками, пальцы сквозь них жгло сильно. Подул он холодной струей на руки, даже свело, и вдруг неожиданно для себя спросил у продавщицы:

— Интересно, почему здесь спиртное?

— Сто лет в обед как не продают,— усмехнулась женщина, а потом пожала плечами.— Только зачем человек спрашивает, если не пьет, не понимаю? Мерзнуть, что ли, нравится?

— А откуда это известно?— Удивило Горелова, в первую очередь, конечно, то, что продавщица так спокойно заявила, как будто они знакомы не первый день. Но тот не знал ее: впервые видел.

— Ладно,— женщина, даже слегка улыбаясь, рукой махнула.— Лучше в кафе сходи, обогрейся: глядишь, и пообедаешь хватит после сегодняшней полочки, иди, иди.

Вовсе Горелову стало не по себе, и он без слов потопал прочь от этого киоска. Прошел несколько шагов и, как вкопанный, остановился: неожиданно и в то же время просто по ч у в с т в о в а л, что женщина эта не только знает, что он, Горелов, верно, не пьет, а знает и больше — не интересуется этим делом уже целый год. Верным было и то, что Горелов недавно получил долгожданную зарплату за дежурство, на которую, при желании, можно и пообедаешь хорошо — пошиковать, зато после этого остается лишь руками развести. Но ему давно хватало кружки горячего чая и куса хлеба.

Там, где он проживал, о первом и втором мечтать не приходилось: в зареченской коммуналке, как в общем вагоне, если не хуже. К плите не подступиться: очередь с утра до вечера вперемежку с пьянкой на том же месте. Да и без ругани с мордобоем не обходится. Какое домой идти. Вот и сейчас не тянет. Хоть мороз на улице, а лучше по городу пройтись.

На душе и без того худо. Тошно: как по рукам-ногам связали и в колодец без дна бросили. Теперь еще эта непонятная женщина из ума не идет. Мимо пробирался согнутый от стужи старичок в высоких рыжих валенках. И тут Горелов мгновенно почувствовал, что может свободно угадывать его мысли!

Только этот мороз так довел, что Горелов еще толком не понял: радоваться ему или бояться такого открытия? Опомнись, когда услышал в себе все то, что старичок думает: «Поди, внучка опять дверь открытой оставила. Бегу, а видно, не успею...». Да и запнулся сам, но Горелов успел его подхватить и сказать: «Не беспокойся, отец: дома все в порядке, а внучка к двери не подходила». Старичок, ойкнув, быстро заторопился своей дорогой.

«О-о,— сообразил Горелов,— так за тронутого с ходу примут. А что, не забродило ли у меня на самом деле?»

Надо походить и поспокоиться, вот что. И он, тихонько спустясь с горки к речке, льдом протопал на другую сторону. Подъем был крутой: вверх вела железная обледенелая лестница, по которой мог подниматься лишь человек, которому надоело жить. У нижней ступеньки адела свежая кровь, в снег впилась: похоже, кто-то вправду переоценил свои силы.

Осторожно держась за поручень, Горелов, было, ступил на железную ступеньку, но сразу возвратился обратно. Еле заметный, возле береговых кустиков лежал стальной прут. Горелов его поднял — это оказался самый обыкновенный ломик. Чего и надо было. Сдвинул он тогда свою шапку на затылок и потихоньку-полегоньку стал эту наледь перед входом сдвигать.

А то, чего доброго, первый голову и свер-

нешь. Но сначала, честно говоря, по сторонам поглядывался, как бы не подумали, мол, герой нашелся, никто не просил. Потом в раж вошел, дело как по маслу пошло, даже жарко стало.

— Что, наконец, жареный петух клюнул?— крикнули над самым ухом. От неожиданности Горелов вздрогнул и выпрямился: перед ним стоял здоровый молодец-удалец в распахнутой, на меху, кожаной куртке.

— Чего уставился?— Ногу молодец перед собой выбросил и туда-сюда ботинком вертит.— Не правду, что ль, говорю? Пока человек голову не свернет, никому дела нет. За что людям и деньги платят? Давай, вкалывай!— горячился мужик в кожаной куртке.— Как не дворник, обязательно лентяй! К бабке не ходи!

— Да я не дворник,— Горелов даже немного отступил перед таким напором, а



ПРОЗА. XXI ВЕК

Александр ЦЫГАНОВ

САДОВНИК

Рассказ

то этот молодец, видать, поддал знатно, теперь не на шутку расходился.

— Тогда кто такой, отвечай!— рявкнул кожаный мужик и для начала крепенько толкнул Горелова в плечо.— Ну!

— Садовник,— первое, что пришло в голову, и брякнул тот. Подумал, чем непонятнее, тем скорее отвяжется. А то, глядишь, ни за что ни про что еще фонарей навешают, ищи-свищи после виноватого. То ли молодец этот перепил, то ли недопил, а только совсем обозлился:

— Гад, еще и врет!— и сам вот-вот двинет, кулак уж отвел — с маленькую кувалдочку. Горелов тогда на всякий случай ломик поднял, мужик и подстих немного. А потом, у пьяных это бывает, наверх как-то быстро взлетел. И вот оттуда кричит, надрыгается:

— Попадешься на узенькой дорожке, ноги-то поотрываю!

— Земляк,— надоумил его тут снизу Горелов.— Дуй прямо в «Веденевскую», там свежее «Арсенальное» завезли, слышь? А на меня не злись: я такой же прохожий, как и ты.

Молодец-удалец этот лишь заводиться начал, как в голове у него одно засело: «Надо в «Засаду» не опоздать». Как будто больше пивных точек не было в городе: видно, хорошенько в носу зашаяло у человека. Вот и пришлось ему подсказать, чтоб лишнего круга по городу не делать. А в «Веденевские бани» точно свежее завезли: несостоявшийся дворник даже теперь в и д е л, как тамошняя продавщица выставляет бутылки в холодильник.

Продавщица... Вот оно что. Да ему надо, кровь из носа, обратно вернуться к киоску и узнать, что такое с ним сделала женщина в черной шапке.

Горелов несколько уже не сомневался: происходящее было делом ее рук. Только врать мужику насчет садовника, конечно, не стоило.

Когда сказал, что он садовник, сразу почувствовал, как неизвестно откуда что-то ледяное и хлынуло в него — прямо внутрь опрокинулось, ну и дела. Нет, надо скорее продавщицу увидеть! И обязательно все разузнать: может, та шутя какую-нибудь порчу навела между делом? Вон сколько в наше время всяких колдунов-чудотворцев развелось — не меньше, чем нищих на улицах.

Возвратился Горелов обратно, оглянулся — нету киоска! Да что за пропадина такая! Ведь был же — вот здесь, возле кафе и стоял! А теперь вместо этого пустое место. Обошел он на всякий случай вокруг двух соседних домов — пусто, заглянул опять на прежнее место: здесь и стоял, вот еще чистое кругом, снегом не тронутое, хорошо видно, ошибки не могло быть.

Делать нечего: холод не тетка, зашел Горелов в кафе, решив все разузнать — киоск этот отсюда, как на блюде был. Народу, кроме двух секретничавших девчушек, не оказалось, и проситель прямым ходом к продавщице:

— Не подскажите,— спросил,— куда тут киоск запропастился? С утра пораньше был и никого не трогал, а сейчас не стало, непонятно.

Так и сказал. А женщина улыбнулась и головой кивает, успокаивает:

— Был, был, с утра стоял. Да только его буквально полчаса назад куда-то свезли. Ведь все киоски, которые незаконные, давно убираются.

— Тогда мне все ясно,— кивнул Горелов,— благодарствую. И куда его увезли?

— Не знаю, молодой человек, не могу сказать. Только ругани было не убавиться, это верно.

Хотя и назвали Горелова молодым человеком, легче не стало: какой молодой человек, придумаю тоже! Под сорок уже, а на вид и того больше: давно не брит, волосы не стрижены, вдобавок еще все старое на нем надето. И пальто, и штаны, и пиджак. А у шапки одного уха совсем нет, оборвалось.

Бывает, какую-нибудь зловредную дырку, что совсем на виду, закропашь, как умеешь, и дальше бегаешь. Может, и рад бы в новое обрядиться, да с такой зарплаты быстро закукуешь. Но это еще ладно, платите хоть вовремя и то бы хорошо. Думают, сторож в кандейке, так уже не человек?

И что с того, если иногда возьмут да бомжом на улице обзовут, сорвется с языка. Не на таковских напали, гореловская порода другая: чтоб с протянутой рукой на люди сунуться, это уже надо особенную натуру иметь. Все нынче на одно лицо — и те, что торгуют на каждом углу, и те, что деньги у каждого встречного без зазрения совести морщат. Раньше тоже всяко жили, но ведь этого не было — откуда что и взялось?

Ноги сами вынесли Горелова на улицу. Шел он по набережной — впереди, через рынок, протопашь несколько кварталов,— и церковь. Купол ее золотился издала, и Горелов просто так, бездумно, брел в том направлении. Вскоре ощутил, как вовсе заледенела голова: оказывается, шапка осталась в кафе, но возвращаться уже не хотелось. Чего-то не по нутру было. А сам он опять почувствовал в себе недавний страшный холод, кажись, забравшийся уже в саму душу, внутрь человеческую. И там, где под старым пиджаком стучалось сердце, невидимый и противный, катался — ползал колющий ежик уже не по первому кругу. Дошло до него сейчас, почему так изнутри прижало.

И раньше, конечно, догад был, а теперь знал точно. Только пользы от этого — пшик на пустом месте. Это что-то вроде болезни, мало хорошего. К примеру, попытался Горелов несколько раз своих же соседей в коммуналке помирить, немоготу было от их ору, так вместо этого сам еле-еле ноги в закуток унес. Или возьми сегодняшней случай с лестницей: тоже чуть на орехи не досталось. Правильно, выходит, соседка и говорила: «Чем лучше остальных — сам во всем и будешь виноват».

Ежик сполз с гореловского нутра, но его заменила плита, которая легла катом — сплющила, и без того дыхание сдавила. Правильно, не суй носа в чужое просо, если у самого, как на грех, ничего не выходит толком.

На дороге, по углам домов, там и сям, сидели нищие, одетые в какие-то летние азиатские одежды. Они тут через год да

каждый год появляются: месяц-другой помелькают и опять исчезают в неизвестном направлении. Многие из несчастных держали на согнутой руке свертки с де-тишками.

Ведь не поскачешь тут в первый встречный двор, и не будешь делать мороженые глаза, как будто все шито-крыто. Горелов, сперва запнувшись, торопливо сунул руку в карман, нашел сегодняшнюю полочку и что-то дал одной женщине, следом другой. Но вспомнил, что и сам еще с утра не ел, сунул остатки денег обратно за пазуху в карман.

Возле нового магазина в гирляндах цветных шариков и с надписью «Мы открылись!», снова оказалась тоскливая фигура в стеганом полосатом халате со склоненной головой и протянутой ладошкой — голой, потрескавшейся на морозе. Тогда Горелов, сжав зубы, выгреб остатки денег, на глазок разделил пополам и половину сунул нищенке, а после, не выдержав, перешел на другую сторону улицы. И сколько бы он ни старался, так и не услышал, что думали эти полубомороженные женщины. Наверное, они давно уже ничего не думали.

Мимо все время пролетали машины — красивые, иностранные, бесшумно-стремительные. Нечасто доводилось Горелову бывать в центральной части города, где, выходило, и кипела новая жизнь. Правда, ему это было все равно, особо не интересовало. Также никому не был нужен и он сам, особенно после одной специальной больницы, где довелось немного отдохнуть; даже на работу не брали, ладно, соседка помогла устроиться, пожалела.

Наконец Горелов попался на пути и рынок — обойти его было невозможно, хотя призамерзший пешеход не терпел многолюдья. В голове его сразу зазвучало на все голоса, как в радиоприемнике, ничего не разобрать: один только свист и крик. Но быстро стихло: видно, Горелов все-таки крепко простыл. Нечего было и нос задирать: вернулся бы да забрал себе шапку, какая-никакая, а все грела.

Неизвестно, почему Горелов обратил внимание на эту девушку. Их здесь вон сколько — считать, не пересчитать. Но вот выделил из всех: в глаза бросилась. Скорее всего, в выпускном классе бегают, хотя выглядит, конечно, по нынешним меркам взрослее. Возле одного из киосков притулилась и вот смотрит — только что дырку не протерла на выставленном за стеклами товаре.

Горелов сразу понял, как ей худо! Как ее душа кричала! И тогда он сделал вид, что его тоже что-то заинтересовало в ближайшем ларьке, встал рядом и настроился на мысли девушки. Тут и настраиваться не надо было — его едва не толкнуло:

«Ну, я вам устрою,— бездумно глядя глазами, полными слез, на холодные киосковые стекла, негодовала школьница.— Блин, прикольно: смартфон им жалко купить! Все наши уже по второму сменили, а мне фигу показали: потерпи немного, сейчас не можем! Потерплю, потерплю, не расстраивайтесь: такое вам устрою, потом и рады бы все отдать, да только поздно будет!»

— Девушка, что желаешь? — сунулась из окошечка усатая голова.— Выбирай. А то в гости заходи, пожалуйста. Может быть, и договоримся.

И вот диво-то: вроде как и засомневалась эта школьница — того гляди, и впрямь туда ползет.

«Иди по своим делам! — разобрало Горелова зло.— Разве можно быть такой душой!»

Девушка испуганно оглянулась, к чему-то прислушиваясь, потом, упрямо мотнув головой, двинулась дальше. А Горелов лишь теперь понял, кому это она угрожала за то, что требуемое ей не купили. Да родители, вот кому! Надо же — сразу не дошло! Крепко, выходит, мороз погулял в его голове. И еще припомнилось, как по радио недавно сообщили, что один из школьников у себя дома в ванной повесился в наказание родителям, которые, кажется, ему не купили что-то из модной одежды.

Так вот чем грозила эта взрослая школьница: верно, решила что-нибудь с собой придумать нехорошее, чтоб потом родители всю жизнь с открытым ртом ходили.

• Окончание на 5-й стр.

ПРОЗА. XXI ВЕК

САДОВНИК

• Окончание. Начало на 4-й стр.

Но ведь несерьезное, поди-ко, только пугнуть, может, решила?..

«Эх, длинноногая,— торопился Горелов следом за десятиклассницей, боясь потерять ее из вида, а заодно стараясь и не узнанным быть.— Не жила еще одна, милая. Да с самого-то детства».

Школьница проворно выбралась из толпы, и Горелов испугался: не запомнил, в чем она была одета. На пути опять попалась нищенка, но Горелов все равно в сторону не свернул и с тоской, бочком, пробрался краешком дороги: дать ей он уже ничего не мог.

Дорога подходила к церкви. Знать, от нечего делать, десятиклассница и вошла сюда. В это время что-то вовсе непонятное и обрушилось в гореловскую память, начисто помешав угадывать,— слышать мысли, оставалось лишь надеяться на самого себя в этом месте с тяжелым золотым крестом наверху.

Он торопливо зашел следом внутрь. Служба здесь закончилась давно, было пусто, красиво, тихо. Мягкий ласковый покой внезапно охватил душу Горелова, изгнав непонятный страх, успокоил и память.

Девушка остановилась там, где под стеклом находились крестики и иконки, книги, церковные календари и свечи. Упрямо шевеля губами, она вдруг радостно улыбнулась и, наклонившись, шепотом спросила о чем-то старушку, копошившуюся за деревянным прилавком.

Горелов уже понял, что надо делать. К счастью, как раз и в настроении девушка была. Да бог с ними, с деньгами этими,

что у него еще оставались. Хоть и невелика, а ей все одно подмога. Проживется как-нибудь, не впервой: у той же соседки перехватит, никогда не отказывала. Нашел о чем страдать.

Понятно, что у самого Горелова школьница не возьмет, это было бы дико, а вот у этой бабушки... Надо только все с толком сделать. Тем временем девушка, немного притихшая после разговора со старушкой, стала осматривать внутреннее убранство церкви: осторожно ступая по кафельному полу, зашла за белоснежную арку, долго смотрела на лик какого-то строгого святого в золотом убранстве. Горелова она не заметила, да и мало ли кто здесь ходит, какое ей дело.

— Извините,— обратился Горелов к старушке тихо.— А что эта девушка хотела?

— А она, милоч, крест свой нательный ладила продавать,— оживилась старушка.— Деньги, вишь, ей понадобились. Иди, сказываю, милая, иди со Христом-богом, грех это. Чего удумала.

— Вот,— прихожанин без раздумья достал все, что у него оставалось.— Отдайте ей как-нибудь. У меня-то не возьмет.

— Дочка али знакомая? — сморщилась старушка.— Убиваешься-то так.

— Дочка, дочка,— отозвался Горелов.— Только гордая больно. Да и поругались мы немного.

— Чего с вами поделаешь,— с ласковым вздохом согласилась старушка.— Давай уж.

Говорить с ней было удивительно легко, словно с самим собой наедине. Горелов передал деньги, вышел за порог и встал у маленького решетчатого окошечка. Почему-то все, вроде, по-честному, хочешь, чтоб лучше кругом было, а выходит все одно наоборот — хуже. Ноет душа, как кто-то в ней чужой сидит, и все тут! Совсем уж заврался: то у него едва ли не каждый встречный-поперечный родной или знакомый, да в придачу еще каким-то садовником с утра пораньше заделался.

собку, что-то взяли там. Отец Валерки отвечал за порядок на своём участке. Бил пойманных им ребят, «колол» их. В разговоре клал руку на затылок задержанного и внезапно, с силой ударял лицом о стол. Перепуганный мальчишка обливался кровью из разбитого носа, ревел от боли. Ребята звали Валеркиного отца не иначе, как Ванька-колун.

Я содрогнулся от этого «можно ожидать». Ладно, отец был такой, но Валерка-то при чём? Он никого не «колол» и, вообще, был похож на пионера с плаката: круглощёкий, смешливый, с весёлым неунывающим взглядом, с задорным вихром волос.

Я недавно оказался в тех местах, зашёл во двор, где мы играли детьми. Ряд деревянных домов, когда-то принадлежавших железнодорожному ведомству. Я остановился у того дома, задумался, прихлынули воспоминания, послышались дальние голоса. И почудилось (со старыми людьми это бывает), что выбежит сейчас из-за сараек смеющийся, весь лучезарный Валерка, с воздушным змеем, прижатым к груди.

Нашли его за сарайками. Лежит в красиве мальчик, ребёнок, раскинув свои ручонки, голубенькая рубашонка вся пропитана кровью. Мать Валеры рубашку не стирала, так и хранила в комод. Бурого цвета, только один рукав голубой. Откроет, бывало, комод, посмотрит на рубашку, зарыдает. И снова ящик задвинет. Детей у них больше не было. Когда мать умерла, рубашку сына ей в гроб положили.

Самого отца боялись убить. Он здоровый мужчина, с крутой бычьей шеей, низким потным лбом, упорным взглядом глаз и увесистыми кулаками. Если на разу не положишь, он драться будет. Решили отомстить на сыне. Его заманили за сарайки. Позвали зачем-то, он доверчиво пошёл.

Кто убил его? Дитя, невинного мальчугана, который не может отвечать за своего отца. Видать, ненависть к отцу была так сильна и глуща, что в чьей-то выгоревшей, слепой от ненависти и злобы душе налилось, как опухоль, желание отомстить. Валерку несколько раз ударили в спину ножом.

Дожил, чего и говорить: дальше ехать некуда. Мимо, едва не задев, пролетела школьница.

— Что случилось? — подскочил Горелов к старушке.

— Да ну вас,— рассердилась та.— Даю девке деньги, она нос воротит, еле не в крик: «Я не нищенка, чтоб чьи-то подачки брать». Да и вон из храма-то в пробеге. Беда с этими и детками. На деньги-то обратно.

— Ладно,— Горелов изо всех сил торопился вслед за школьницей,— пусть здесь останутся. У меня еще есть.

И, наскоро перекрестившись, он опрометью кинулся к выходу: девушка не успела уйти далеко. Более того, она уже явно на что-то решилась. Стояла в близкую от пешеходного перехода, что в городском парке, рядом с оцепеневше-заснеженными деревьями, и внимательно следила за проезжающими машинами.

«Теперь я вам устрою!» — проскочило молнией в гореловской голове, и он мгновенно заметил нечто ужасное — сначала даже своим глазам не поверил.

Вокруг этой девушки, свободно обтекая, легким газообразным облачком пульсировало и двигалось что-то жуткое,— жило, все время видоизменяясь, колыхаясь в морозно-искристом снежном мареве.

Горелов обеими руками протер слезящиеся глаза: мимо бежали — торопились замерзшие, ушедшие в свои мысли люди, спешили в долгожданное тепло. А газообразное, меняясь, постоянно пульсировало: в нем то вспыхивали сонмы антрацитно светящихся злобью глазок, то высовывались люто кривляющиеся мордочки и острые хвостики, исчезая и вновь являясь в ином, невообразимо-фантастическом виде, еле улавливаемом людским зрением.

«Всем покажу — узнаете!» — крикнула ученица, и из газообразного тумана, соткавшись, тут же стремительно и дружно

Нам, мелюзге, не было дела, чем занимается Валеркин отец, но старшие парни не любили его и не раз говорили о нём со злостью матерными словами.

Убийца Валерки, наверное, жив до сих пор. Как-то встретит его Господь на том свете? А тебе, милый дружок, вечная радость и вечная память. Ты озарил мои дни своим смехом, простодушной, сердечной детской улыбкой.

Из глубины лет, разделяющих нас, шлю тебе светлый привет и улыбку. До свидания, дорогой мальчик, так и не ставший юношей, мужчиной. Едва ли ты узнаешь меня, когда и я, но уже седой и старый, приду в твою страну, иде же несть ни печаль, ни воздыхания. Но я узнаю тебя.

Н. УСТЮЖАНИН

ВЫБОР

МОЙ наивный советский интернационализм слетел в армии быстро, как сухой лист. Солдаты сразу разбрелись по национальным квартирам: гордцы-прибалты сторонились всех, горцы общались с земляками старшего призыва и тут же попадали под их защиту, грузины пристраивали друг друга в каптеры, даже узбеки прильнули к столовой, одни русские служили по уставу.

С местными — то ли украинцами, то ли русскими — мы сталкивались редко, хотя украинские упитанные прапорщики даже на службе отличились скопидомством и своеобразной рачительностью: тянули в хаты все, что плохо или хорошо лежало.

Во время редких увольнительных в разговорах с аборигенами выяснилось, что национальный вопрос тлеет даже здесь, в местности, населенной преимущественно русскими: сюда время от времени высаживался десант из самостийников в вышиванках. Они кричали что-то о незадачной, цитировали Тараса Шевченко, но на них смотрели как на экзотику. Впрочем,

вылетело неисчислимое количество мохнатых огненных ручек, разом толкнув девушку вперед — под стремительную, неудержимо летящую машину.

Но только раньше, успев-таки, наконец, понять, что же такое чужеродное сидело в нем,— Горелов уже точно знал, что станет делать дальше. И тогда, словно это услышав, нечто дегтарно-темное с ревом вышло из его нутра вон, спасительно освободив душу от непосильной маеты, там спокойней стало. А он сам тотчас прыгнул, оттолкнув от проезжей части вздрогнувшую школьницу прямо к самим застывшим деревьям, что теплой порой не иначе, как самым настоящим райским садом и не обозвать, из-за своей неизменно благоухающей, буйно-неукротимой зелени.

О себе знал — все равно не пропадет, только гололед был, скользко кругом. Не рассчитал Горелов свои силы: его бросило прямиком под разящую черную стрелу, которая насквозь и прошла через то, что называлось человеческим телом. Ему еще дано было увидеть и услышать, как на том месте, где он был, раздавленный, вдруг все разом взревело и завертелось, как чей-то голос — жалостливый и одинокий — говорил:

— Смотрю, а он ни с того ни с сего как под машину бросится! Наверно, пьяница какой-нибудь или с ума человек сошел. Сейчас это каждый день бывает. Люди уже и жить не хотят, вот что творится на белом свете.

Горелов видел свое тело с разбросанными руками и разбитой, смятой головой, со свивающимися сосульками красных волос. А следом нечто светлое подняло его уже неосознаемую светящуюся оболочку высоко-высоко, но будто все его, гореловское, светлое, не отставало кричать и кричать, невесомо уходя в запредельные невозвратные дали. Только уж если там, на земле, никто не хотел слышать — кто же теперь услышит оттуда — из света?

и в Богодухове украинская общинность потаенно складывалась и заявляла о себе.

Но по-настоящему с «жовто-блакитными» я столкнулся уже в Киеве и под Борисполем — своей подлостью и ожесточенной ненавистью к русским они удивляли даже гортанных «детей гор». Вести, приходившие из разных военных частей, где заправляли, как мне объяснили, самые настоящие бандеровцы, были ужасны: первогодки там стрелялись, вешались, в лучшем случае просто убегали.

В Киев я прибыл уже «черпаком», но и на втором году службы мне приходилось лезть в драку — «москалей» они за людей не считали.

В бориспольских лесах взаимная ненависть вспыхнула с новой силой: бандеровцы унижали не только солдат, они избивали и молодого лейтенанта — «пиджака», чем-то им не угодившего.

Вскоре меня, как и всех, отслуживших полтора года после института, направили на офицерские курсы в Кривой Рог. Между прочим, курсанты там, в большинстве своем, оказались русскими.

Через полтора месяца на плацу стоял огромный «квадрат» из парадных, но выдавших виды солдатских мундиров с сержантскими нашивками на погонах — «звездочки» нам могли светить сразу только на сверхсрочной.

Толстопузый и лысый полковник, раздобревший на легкой службе начальника курсов, тяжело переступал с ноги на ногу напротив нетерпеливых «дембелей». Почувствовав, что в строе назревает нецензурщина, он замер, потом выпрямился и гаркнул:

— Товарищи будущие офицеры! У вас есть прекрасная возможность стать кадровыми военными. Кто согласится остаться на сверхсрочную службу, получит офицерские погоны, должность и жилье. Помедлив, он скомандовал:

— Кто желает служить на земле Советской Украины, шаг вперед!

«Квадрат» не шелохнулся. Полковник стал ждать, но из строя так никто и не вышел.

Тогда, в июне 1984-го, мы свой выбор сделали.

ИЗ АРХИВА ВОЛОГОДСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВАНЮ — сына Дарьи Румянцевой — убило на фронте в сорок втором году, а бумага пришла только весной сорок третьего. Она, эта бумага, с печатью воинской части, с непонятной, уж больно подозрительной подписью шла к Дарье больше года. И то, что бумага шла так долго, а главное, что подпись-то была непонятная (один крючок с петелькой), Дарья решила, что бумага фальшивая, подделанная каким-то недобрым человеком.

Когда через деревню проезжали цыганы, Дарья каждый раз ходила гадать на Ваню. И каждый раз выводило на то, что бумага ненастоящая. Карты раскидывались как нельзя лучше: ей, Дарье, выпадало всегда семеренье, а к червонному королю ложился то туз бубей, означающий казенный дом, то трефовая шестерка. А король с шестеркой — не иначе была Ивану дорога. Дорога в казенный дом, либо обратно, из казенного дома. Правда, все время крутился около и пиковый король, этот черный антихрист с острым мечом в поганой руке. Так ведь что сделаешь, не на гулянку Иван ушел, на войну. Зато ни разу еще не пала ружьем ни десятка виной (больная постель), ни винновый туз, начинающий смертельный удар.

Карты ложились веселые, все почти красные. Дарья выходила от цыганки радостная, просветленная, не жалея ни козьей сметаны, ни последней напойки еще довоенного китайского чаю. Сердце ее успокаивалось, и она ходила по всем домам с одним разговором: жив у меня Ванюшко, жив, пустая эта бумага, неверная... И все люди, особенно бабы, шумно, с искренней готовностью подтверждали Дарьи мысли, а она, придя домой, ставила самовар и долго, отрадно пила кипяток с вяленой репой вместо сахара.

Самовар празднично выпевал на столе, насквозь по нему шли веселые звоны. Под белым сосновым полом кротко шуршала нехитрая мышка, часы на стене постукивали, как раньше, при сыне Иване. И Дарья терпеливо дожидалась конца войны.

По вечерам, зимой и осенью, она вдевала в пробой ворот недеятельный замок, ровесник медному самовару, втыкала в скобу березовый батожок и шла на конюшню стеречь лошадей.

В конюшенной теплушке топились трескучая печка, пахло кожей и паром от потных войлочных хомутов. Упряжь висела рядами на деревянных штырях, Дарья вслух ее пересчитывала, зажигала фонарь и обходила конюшню. Длинный сухой коридор с двумя рядами стойл был чист и уютен. Кони дружно хрюпали сено: этот хруст сливался в один мерный бесконечный звук, похожий на шум тихого грибного дождя. Дарья любила слушать, как едят кони. Пока она шла длинным коридором, в ней светилось чувство покоя и удовлетворения, может быть, это была всего лишь радость за измученных за день и теперь утолявших голод лошадей. Там и тут не жадно, по-крестьянски неторопливо, кони выбирали мягкими губами волоти корма. Они провожали свет фонаря глубокими всхрапами. Дарья проходила по конюшне из конца в конец и, довольная сама собой, всю ночь засыпала в теплушке, думала про сына Ивана.

С рассветом она возвращалась домой, волоча по пути какую-нибудь помину, брошенный колышек, либо гнилую тесинку. Дрова маяли Дарью, особенно в зимнюю пору. Летом она топила в избе через день, чтобы сберечь поленце-другое, картошку же выдумала варить в самоваре. Это было и проще, и выгоднее; картошка, если помельче, варилась быстро, да и кипяток для питья выходил вроде бы чем-то позанятнее.

Первые два года войны Дарья держала в хозяйстве козу. «Не было скотины, не скотина и это», — говаривала Дарья, выгоняя козу из чужих огородов. Коза была блудная чистая. Она все время то залезала каким-то способом на крышу, бляла и бегала по князьку, не знала, как слезть обратно, и перепуганной Дарье приходилось звать на помощь старика Мишу. То забиралась коза в колхозный хлеб, и тогда Дарью, как, впрочем, и других, штрафовали на пятьдесят трудней. Да и молоко

от козы Дарья есть не могла, оно воняло чем-то срамным, невзаправдашним. Из-за всего этого и называла Дарья свою «корову» разными кличками: то Вадькой, то Щепоткой, но всегда без особого зла и, в общем-то, жалела животину.

Как-то ранней весной коза неожиданно для Дарьи обгулялась и потом, на подножном корму, осуягилась двумя пуштыми и лобастыми козлятами. Козочку Дарья вскоре променяла на три фунта овечьей шерсти, чтобы свалить валенки. Козел же незаметно вырос, превратился в лобастого похотливого остолопа, он прыгал даже на людей, фыркая, бесстыже оттягивая губу и юля хвостом. Борода у него была не борода, а свалившийся ком репейных липучек, рога все время в крови, потому что ребятишки приучили его бодаться. И Дарья не особенно тужила, когда лишилась козла, хотя ей и показалось обидно, что не успела сдать его в счет мясопоставок. Сдала бы вовремя, теперь бы и не числилась за ней хоть эта недоимка...

Дарья еще не вышла из возраста. У нее брали полный налог: яйца, мясо, шерсть, картошку. Все это она сдала, кое прику-

пив, кое заменив одно другим, и только по мясу числилась недоимка, да денежный налог был еще весь целехонек, не говоря уже о страховке, займе и самообложении. По этим статьям у нее было не выплачено еще и за прошлый сорок второй год, а Пашка Неуступов по прозвищу Куверик, по здоровью не взятый в армию Ванин однокласс, уже в январе принес Дарье новые обязательства. Тогда Дарья бережно положила зеленые и розовые бумажки в коробочку из-под чая, а Пашка застегнул свою сумку с бумагами и карандашами, начал Дарью отчитывать:

— Да как, товарищ Румянцева? Давай не будем ругаться, надо с государством рассчитываться, надо рассчитываться.

— Знамо, Пашенька, надо, — сказала Дарья. — Как, батюшке не надо, надо.

И завывала самовар, от души радуясь гостю.

До войны Пашка ходил на гулянки вместе с Ваней, они даже гостились, и Дарья глядела на Пашку, как на родного. Ей хотелось угостить его чем-нибудь, поговорить, но Куверик ушел в другой дом, и Дарья глядела ему вслед, вспоминая опять же сына Ивана.

И вот зимою, когда козел вырос, Дарья хотела сдать животину в счет мясопоставки, но не успела. Дело получилось так, что однажды заведующий фермой приехал в деревню и поставил мерина на конюшне в свободное стойло. Дарья хотела снять с мерина седло и узду, а пьяный заведующий сказал ей, чтобы ничего не трогала, поскольку он скоро поедет обратно в контору, и Дарья ушла домой: днем сторожить на конюшне нечего. И мерин-то был с другой конюшни. Он ел сено, будучи взнузданным, и от этого откусил язык, довел сам себя, и его пришлось пристрелить из ружья, а на правлении колхоза, вместе с заведующим притянули в виновники и Дарью. Заведующий выплатил свой штраф наличными, продал что-то и выплатил; у Дарьи же денег не было, это знали все, и в протоколе правления записали такое решение: «Ввиду халатной порчи колхозного мерина изъять из хозяйства сторожихи Румянцевой личного козла».

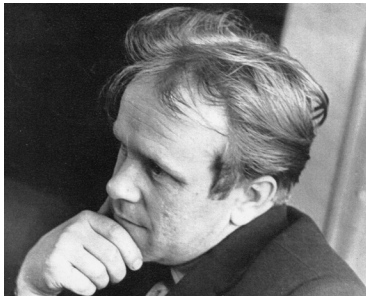
Голод в народе зачинался как-то незаметно, понемногу. Наверное, поэтому никто не всплеснул руками, когда в колхозе умерла от истощения первая старуха. Никто не удивился и тому, что двери теперь почти не закрывались от великого изобилия нищих.

По дорогам шли и шли какие-то чуждающие разномастные стариканы с батогами и котомками. Брели с корзинами убогонькие старушки и калеки всех сортов, шли подростки с холщовыми, сжитыми для ходьбы в школу сумками. От деревни к деревне, от дома к дому перебирались дети. Всякие, начиная от еле успевших научиться ходить, кончая теми, что побольше. И бабы спрашивали у них: «Парнёк или девушка?» Потому что по одежде было трудно угадать, а бабам надо в любое время знать все обо всем. Дети просили милостыню заученными фразами, то на погорелое место, то отзываясь сиротами. Стояли у дверей равнодушные, не поднимая глаз. Им подавали, а если подать хозяевам было нечего, они так же равнодушно поворачивались и уходили куда-то дальше. Старушки, те появлялись у порога проворно, чтобы не выстудить избу. Фальшиво, не веря в бога, крестились на угол: «Пошли, господи, этому дому благодать и покой, сбереги его от огня и мора, сохрани хозяина от меча, от пули и лихого человека, подай милостыню, ради Христа». Старушки же шептали молитвы кротко, истова...

Василий БЕЛОВ

САМОВАР

Рассказ



Нищие устраивались на ночлег еще засветло, чтобы не отемнять, и в редком дому отказывали убогим в крове. Бабы сажали их за стол, делили похлебку, расспрашивали у ночлежника, чей да как зовут, какая семья и есть ли дом, чего слышно в чужих местах. Нищие отогревались у древних лежанок, мастера говорили сказки собирали компании слушателей. Горела в избе почти бездымная березовая лучина, ветер шумел за родимыми окнами, и колдовские осенние ночи становились короче от веселых и жутких выбальшинок.

— А вот, матушка, не слыхала, что летос в Дикове-то было? — обращаясь к хозяйке, тихо, умиротворенно начинала нищенка, и все затихали.

— Нет, баушка, не слыхала. А чево?

Такая старушка сперва чистоплотно сморкалась в какую-то свою тряпочку, складывала сухонькие, глянцевиные от старости ручки и словно бы укоризненно качала головой: мол, все знаю, что случилось в Дикове.

Хозяйка садилась к огню, ребятишки тыкали друг друга под микитки, чтобы занять место поближе.

— Вот, милая, в Дикове-то жила семья, мужик с бабой да двое ребенчков. Как война-то пошла по земле, мужика-то, ясное дело, в солдаты тут и забрали. Вот баба-то проводила его да и осталась одна с малолетками. А баба-то дорожная, в кости широкая, звали Марютой. Вот живут оне год, другой живут, вдруг, матушка ты моя, народ-от и приметил, что у Марюты по вечерам в погребке то ли собачка скулит, то ли поросенок. Как вечер-то придет, так, родимые, и заповизгивает, так и заплачет...

— В погребе?

— В погребе, матушка. А тут и видят люди-ти, что у Марюты брюха стало больше, откуда, думают, у нее брюхо-то, ежели и мужик на войне, и никакого греха за бабой не вживалось...

Рассказчица походя, мелкими крестиками крестила узкую грудку, хозяйка ойкала и всплескивала руками, и ребятишки со страхом слушали историю с чертом. Из рассказа нищенки они узнавали, что эта Марюта запирала на день черта в свое подполье, а вечером он визжал и просился на волю, и она выпускала его по ночам и однажды родила ребеночка. И будто бы когда мыли ребеночка в бане, то одна старуха видела у него крохотный, не больше

наперстка, хвостик, а когда собрались люди и обкурили весь дом дымом вереса, то ничего не увидели, только по снегу от погребка пролегли следы от копыт.

Старушка по простоте душевной вовсе и не замечала, что дело по рассказу было летом, в самый сенокос, не замечали летнего снега и ее слушатели.

По утрам нищие вставали рано, вместе с хозяйками.

Они уходили неведомо куда, уходили дальше, а взамен приходили другие, да так и шли волна за волной, и не видно было конца сумеречной голодной поре.

Вскоре стало совсем нечего есть. Небольшие скопленные до войны запасы хлеба были давно съедены, бабы начисто выскребли коробы и лари тетеревиными крылышками. У кого имелась корова да небольшая семья, те еще жили, хотя сдать государству больше трехсот литров молока — дело нешуточное. Себе оставалась только любяя половина. В тех домах, где коровы были нарушены, выручала пока картошка, в придачу бабы все время ходили менять добро в дальний, все еще хлебный колхоз. Доставали из сундуков праздничные, напоминавшие прежнее платки, косынки, мужнины пиджаки, сапоги, складывали все на саночки и, поголосив, деловито ехали за горькой добычей. Десять фунтов зерна за новые опойковые сапоги, полпула картошки за богатую кружевную косынку...

Бабы, сдерживая слезы, не торговались, катились обратно, везли домой эти легкие зернята, эти считанные картошины. Ноши их были легки, и санки не скрипели по снегу от тяжести, и быстро-быстро пустели без того просторные довоенные сундуки. Правда, и тут не обошлось без смеха: одна в веселом отчаянии променяла яркую, еще девичью фату-кашмировку на две крышки простокваши (хоть раз да нахлебаюсь досыта!), другая за двадцать верст, по морозу, привезла домой бутылку шей, третья за пачку хрустких новехоньких облигаций купила хромую курицу... Как говорит пословица, один рот все делает: и плачет, и смеется.

У Дарьи имелся хороший полушерстяной Иванов костюм. Иван купил его за три недели до войны, не успел даже поносить вдоволь, как поскакали на лошадях страшные нарочные, запели гармони, заревели на околицах бабы с девками. Когда Дарье становилось немого, когда начинало уж очень болеть сердце, она приносила из сеника этот костюм, гладила его, ловила далекий, уже забываемый затхлостью сундука Ванюшков запах. Однажды она заметила, что на рукаве некрепко сидела пуговица, в другой раз вывернула карманы, увидела копеечку и махорочную пыльцу: Иван привадились к куреву еще на действительной. И Дарья подолгу сидела одна, разволнованная, с облегчающими слезами, прятала копеечку в пустую сахарницу, не торопясь, чтобы растянуть радость, пришивала к рукаву пуговицу. Она не могла осмелиться идти с бабами и тогда, когда начали пухнуть ноги.

На первое мая соседский дедко, сивый бухтинник Миша, купил у нее козу. Половину цены Дарья взяла с него картошкой, другую деньгами. Деньги, семьдесят пять рублей, Дарья того же дня отдала финангенту, а картошку разделила тоже пополам: корзину на питание да корзину оставила на семена, чтобы, как и все добрые люди, посадить весной хоть немного. Но, чтобы не умереть, ей пришлось вскоре варить в самоваре и эту, семенную картошку, а когда начали пахать огороды, у Дарьи заболела душа. Надо было посадить хоть грядку, хоть полгрядочки, и она решилась, пошла с бабами...

Она выменяла на Иванов костюм полмешка картошки и обрезками посадила полторы гряды. Корзиной оставшихся обрезанных картофелин да лепешками из клеверных куколок Дарья и питалась, считай, до самой Казанской.

* * *

Отрадное, теплое пришло на деревню лето. Дарья каждый день ходила с бабами косить: в куче и время шло быстрее, и есть меньше хотелось, и тоска как будто

• Окончание на 7-й стр.

ИЗ АРХИВА ВОЛОГОДСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Окончание. Начало на 6-й стр.

стихала. На привалах Дарья садилась около баб, грела на солнышке опухшие ноги. Ее все время тянуло в сон. Она редко вступала в разговоры и порой не слышала комариных укусов.

— Шла бы домой, Дарьюшка, да полежала,— обращались к ней иногда, а она встряхивалась и, стыдясь своей слабости, ласково, с нежностью говорила:

— А головушка-то кружится, девушки, так уж она у меня кружится, так кружится...

Облака чередой проходили в небе. В горячих травах неустанно всесветно звенели кузнечики, их звон сливался с не стихающим, по-угарному тоненьким звоном в ушах. Дарья опять дремотно клонила голову, улыбалась, когда ветер ласкал цепенеющий лоб, и с трудом поднималась на ноги, брала грабли. В первые минуты работы ей казалось, что она вот-вот упадет. Но понемногу опять появлялись какие-то новые силы, удивлявшие своим появлением и ее самую, и Дарья уходила домой только вместе со всеми.

По пути она тоже рвала под кустами сочные сладкие трубки дягиля, обдирала полосками верхнюю грубую кожуру и ела хрустящую мякоть, собирала усыхающий шавель.

Солнце увеличивалось, краснело и сходило на горизонт. Коровы шли с выгона, у речки пробовал свой голос дергач, будто и не было нигде никакой войны.

Дома Дарье становилось легче, она ставила самовар, клала в него три-четыре картофельных обрезка. Самовар у нее вскипал очень быстро, она даже не носила его на стол, а оставляла у шестка, и пока ела картошку, все оглядывалась на него, разговаривала с ним:

— Вот ты у меня еще побулькай, вот у меня побулькай. Ишь он разбулькался.

Дарья так же вот разговаривала раньше с козой, разговаривала с подпольной мышкой. Но козу давно купил и зарезал сосед Миша, да и мышка под полом теперь не жила, и Дарья разговаривала с самоваром:

— И нечего. Я вот тебе сейчас! Возьму да трубу-то и закрою, ты и остановишься.

Самовар успокаивался и переходил на тихий, похожий на церковное пение звон, потом в нем что-то тихонько потрескивало, и, пискнув последний раз, он затухал у шестка.

К Дарье часто по одной, а то и две сразу приходили погулять бабы. Заглядывала сторбленная, словно пополам переломленная Сурганиха. Бабы приносили иной раз то крыночку не выпоенной скотине сыворотки, то недоеденную в блюде похлебку, а Сурганиха угощала ее клеверной лепешкой, пробовала и хвалила Дарьино печенье, выпивала чашку-другую кипятку. Они подолгу сидели за самоваром, рассказывая друг дружке свои сны и жалуясь каждая на свои немочи. Раза два-три за лето прихаживал и сивый, с апостольской головой, старик Миша, однажды он насадил Дарье ухват, в другой раз перевязал разошедшее косьевище.

И каждый раз все спрашивали, нет ли от Ивана письма, а когда узнавали, что письма нет, сокрушенно и участливо чмокали языками, утешали Дарью:

— Придет письмо, Дарьюшка, как не придет, должно прийти. Ведь сама поуди, какая ныне война идет, все люди, свои и чужие, перемешались. Да и почта, она ведь тоже иной раз не успевает.

— Да, милая, да...— Дарья радостно поддакивала и промокала передником глаза.

— Опять же эти вон бомбежки возьми. Ведь сколько этих ашелонов-то почтовых до своего места не дошло, поди, и не сосчитать. А и ему-то тоже, Ивану-то, может, иной раз и написать-то нечем, ни карандаша, ни грамотки, ведь это, ма-тушка, не дома.

— Не дома, не дома, милая.

— Ежели их в самый большой огошек увезли, им, ребятам-то, может и похлебать в времечка нету, не то что письмо написать.

Сама Дарья по другим измам не ходила. Однажды, когда еще с утра собирался

грозовой дождь и надо было метать стога, она испугалась, что оставила самовар незакрытым. Молнии метались уже над самой деревней, туча давила на побелевшие крыши. И Дарья, теряя силы, побежала домой.

Она крестилась при каждом ударе грома и все ругала себя, что не закрыла самовар скатертью, что печная вьюшка тоже осталась незадвинута... Дарья еле успела добежать до избы, когда обрушился на деревню тяжелый сплошной дождь. Небо гремело тоже все сплошь, в потемневшей избе углы озарялись дымно-желтыми сполохами молний. Дарья, слабая от страха, задвинула вьюшку, плотно укрыла самовар холщовой скатертью, и в это время грохнуло так, что она, не успев перекреститься, бессильно упала на пол и потеряла память.

Но гроза прошла так же быстро как и накатилась. Гром еще медленно уползал за лесной гребень и золотые капли еще летели с неба, когда выглянуло солнышко. Дарья еле выбралась на крылечко, голова у нее кружилась и ноги не слушались. Она ласково глядела на свежую, умытую дождем траву, слушала чириканье белогрудых касаток и опять ругала себя за то, что не догадалась поставить бадью под застрех. Слабость и глухая боль в темени не могли заглушить этой обиды на самую себя. И вдруг она тихонько, беззвучно зашептала что-то сама про себя, и ей было странно, что она стала будто бы и не она, а другая, и что эта, другая Дарья, выговаривала ей, Дарье, за непоставленную бадью. Ей стало приятно, легко, отрадно, она как бы смотрела и слушала сама себя, будто ее тело отделялось от нее, и теперь она стала легонькая и радостная.

А гром совсем затихал вдалеке. От ясной чистой травы поднимался теплый ясный пар, крутая ясная радуга была высоко и почти ощутима. Широкая, чистая в своем многоцветье полоса, опоясав громадное полукружье, падала в зеленое поле, а заслоненные той полосой, светились жемчужно-розовые ивняки. Дарья как будто вспоминала что-то и не могла вспомнить. На глаза ей попалась давнишняя корзина-боковушка, висевшая в сенях на деревянном гвоздике, и вот Дарья, глядя на эту корзину, долго и трудно что-то вспоминала.

Она поднялась на ноги и как во сне сняла эту корзину, тихонько, держась за стену хлева, пошла в огород. Открыла отводок, подошла к грядке. Картошка уже кустилась, Дарье было приятно глядеть на мясистые, сочные стебельки, на широкий шершавый лист, вот-вот готовый вырядиться в бело-желтые цветы. Дарья опустилась на колени, дрожащими пальцами разрыла землю, нащупала и оторвала от корней матку-картофелину, которая дала жизнь этим зеленым стеблям. Зародышей молодой картошки еще не было на белых хрупких корешках, это Дарья видела. Она разрыла еще кустик, потом еще, складывая в боковуху черные, вялые, высаженные в землю картофелины-обрезки. Дарья насчитала десять картофелин, обтерла их о траву и тихая, довольная вернулась в избу.

Самовар стоял у шестка веселый, светлый, как перед праздником. Дарья потихоньку принесла с колодца бадейку воды, отщепнула от полена с полдесятка лучинок, но разжечь не успела: в избу шумно вошел Куверик.

— Дома хозяйка?

— Дома, батюшко, дома, проходи, Пашенька, да садись.

Дарья поставила ему скамеечку. Но Пашка Куверик на поставленную скамейку не сел, а сел на лавку, за стол. Расстегнул полевую сумку и, не глядя на Дарью, начал листать бумаги. Дарья с почтением глядела, как он листал бумаги. Потом Паша ножичком ловко очинил карандаш:

— Дак как, товарищ Румянцева? Будем деньги платить или не будем? Одна ты во всей деревне злоупорничаешь, придется, видно, принимать меры.

— Беда, Пашенька, денег-то у меня сейчас нету, ты бы подождал хоть немного.

— Нет, я больше ждать не намерен.

— Не намерен?

— Нет, ни в коем случае.

Дарья замолчала и, вздохнув, зачем-то поскребла пальцем столешницу. Пашка деловито оглядел избу, сказал:

— Буду описывать.

— Дак ведь что уж... Ежели... Уж твое дело, батюшко... Пашка долго под копирку писал какую-то бумагу, и Дарья терпеливо ждала его.

После они оба пошли по дому. Пашка сам отпер чулан, и пока Дарья стояла у дверей, открыл осиновою коробью, заглянул под лавочку. В чулане было темно, он то и дело чиркал спички:

— Так, коробья, старое решето. Это не пойдет. Берда ткацкие с тюриком. Не годится. Есть еще что?

— Есть, Пашенька, есть. Вот бутыл из-под карасину да корья девять мотушек.

— Я не про это спрашиваю,— Пашка чихнула.— Одежа какая, либо холсты.

— Нету, батюшко. Вон только шерсти два фунта с четвертью, обутку хотела к зиме...

— Где?

— Вот, батюшко, вот.

Дарья подала ему шерсть, набитую в старую ситцевую наволочку. Больше ничего Пашку не заинтересовало ни в чулане, ни на повети, ни в темном, пахнущем гнилью подвале. Он вернулся в избу, открыл шкаф, оглядел полаты с залавком, откинул за колечко крышку западни, но ничего нигде больше не было.

— Вот, товарищ Румянцева, подпиши в акте и описи.

— Неученая ведь я, Пашенька.

Пашка знал и без этого, что Дарья расписываться не умела. Он поочередно подтянул за уши голенищ свои хромовые сапоги, сложил бумаги в сумку и опять же, не глядя на Дарью, строго сказал:

— Так, товарищ Румянцева!

Дарья налила воды в самовар и хотела разжечь лучинки от Пашкиной спички, но Пашка отвел спичку, прикурил и загасил огонь. Дарья ничего не поняла. И только тогда, когда Паша взял самовар и пошел выливать воду, Дарья заплакала, заговорила, забегая вперед перед Пашкой:

— Пашенька... Милой, как я без самовара-то, возьми шерсть-то, оставь самовар-от... Век буду бога за тебя молить, Пашенька...

Но Пашка унес и шерсть, и самовар, а Дарья в слезах села на лавку. Голова у нее опять закружилась, заломило темя. В избе без самовара стало совсем неприятно и пусто. Дарья плакала, но слезы в глазах тоже кончились.

День долго светился в окошке. Далеко за лесами до ночи урчали тревожные громы. В избу залетали оводы и, погудев, улетали обратно, иные тыкались в окна, подолгу точили лбами стекла рам и устало затихали. Дарья ничего этого на слыхала. Она изгрызла мягкую, изросшую в земле картофелину, изгрызла еще одну и улезла на печь. Не зная, день на улице или ночь, утро или вечер, она лежала на печи, чувствовала, как слабеют руки и ноги. Она все пыталась отделить явь от сна и никак не могла, и дальние громы казались ей шумом широкой, идущей двумя полосами войны. Война представлялась Дарье двумя бесконечными рядами солдат с ружьями. И будто бы солдаты стояли рядами, друг перед другом, свои и немецкие, поочередно стреляли друг в друга, а между своим и чужим рядом лежит ровная зеленая трава. Эти ряды солдат в одинаковых новых фуражках, с одинаковыми ружьями в руках терялись далеко на горизонте, и будто бы солдаты то и дело поочередно палили друг в друга. А Иван, ее сын, стоял на самом виду, на горушке, и у него почему-то не было в руках ружья. Дарье было страшно, ей казалось, что его сейчас убьют, потому что он стоял без ружья, и мучительно хотелось окрикнуть его, чтобы он поскорее взял ружье, но крика не получалось. И Дарья побежала к нему, воя в жестокой тревоге. Ей хотелось бежать быстрее, а ноги ее не слушались и что-то тяжелое, всесильное не давало ей бежать к сыну. И ряды солдат неотвратимо, медленно удалялись от Дарьи, все дальше и дальше...

* * *

На третий или четвертый день Сурганиха ходила в магазин, чтобы купить оселок для наставки кос и увидела на прилавке Дарьин самовар. Она в изумлении даже повертела кран: самовар взаправду был Дарьин. «Ой, ой, ведь описали,— подумала Сурганиха,— бес этот, Куверик, самовар описал у старухи».

На покосе Сурганиха рассказала бабам, что видела на прилавке Дарьин самовар. Бабы заохали, жалеючи Дарью. Тут же выяснилось, что Дарья уже третий день не выходит в поле, и все всполошились еще больше:

— Да сколько стоит-то?

— Жива ли уж она, девушки, Дарья-то?

— Куверик дак Куверик и есть.

— Пес, не парень, пес...

— Выкупить бы самовар-от ей,— заметил кто-то, и бабы притихли, испугались этого предложения. Но потом опять одна за другой заохали, заговорили, и как-то само так получилось, что делать было нечего, надо собраться всей деревней и выкупить самовар.

Магазин по случаю сенокоса работал по вечерам. Бабы собрали кто сколько мог, выкупили самовар и, довольные, всем гуртом пошли к Дарьиной избе.

Однако изба была на замке, а в скобе торчал березовый батожок.

— Ушла, видно, сердешная, по миру ушла,— сказала Сурганиха.

Открыли ворота, обошли пустой дом. Все было подметено, шкаф закрыт, ухваты у печки стояли в порядке. Сурганиха сразу заметила, что корзины-боковушки ни в избе, ни на повети не было.

Бабы поставили самовар на обычное место, повздыхали и вышли, заперев избу тем же замком.

— Пошла по белому свету...

— Может, и не оставят крещеные.

— Одна голова не бедна, а бедна — так одна.

— Истинно.

— Говорят, от суммы да от тюрьмы не зарекайся,— сказала Сурганиха, втыкая в скобу Дарьиных ворот все тот же березовый батожок.— Даст Бог, война кончится, жизнь наладится.

— Может, и придет Дарьюшка.

Сенокос шел своим чередом. За лето через деревню прошли сотни нищих: стариков, детей, старушек. Но Дарью ни разу никто не видел. Изба ее стояла одна. Отцвела грядка картошки за этой избой, с крыши двора сползло с десятков подгнивших тесин. А Дарья так и не вернулась в деревню. Бабы спрашивали у нищих, не видали ли они Дарью, не встречали ли где, но никто не видел, никто не встречал. Только однажды, уже зимой, до деревни дошел слух, что километрах в десяти отсюда, в сеновале на лесной пустоши нашли какую-то мертвую старуху. Ездили за сеном и нашли, она лежала в сеновале, видать, от самой осени, потому что кусочки в ее корзине уже высохли, и одежда на ней была летняя. Бабы единогласно решили, что это обязательно и есть ихняя Дарья, больше, мол, быть некому, кроме нее. Но старик Миша только подсмеивался над бабами:

«Да, угадали, как в лужу дунули,— говорил он,— так обязательно и есть, эта старуха наша Дарья.— Да разве мало таких старух по матушке Рассее? Ежели считать этих старух, дак, поди, и цифров не хватит, а вы — Дарья, Дарья! Их, старух-то этих...»

Бабы махали на Мишу руками, отстаивая свое твердое и ясное мнение: мол, ты, Михайло, сиди и не спорь, Дарья была в сеновале, больше некому. Миша отмалчивался: «А ну вас к богу в рай, вы сороки, вас не переспоришь...»

И правда, спорить с бабами одному старику было бесполезно. А, может, и правы они были, эти бабы, кто знает? Они, бабы, почти всегда бываю правы, особенно когда на земле такая война.

Настоящая публикация неизвестного рассказа В.И. Белова интересна с точки зрения истории литературы и относится к начальному периоду творчества классика русской литературы. Это произведение ранее не публиковалось и находится на хранении в Вологодской писательской организации.

Инга ЧУРБАНОВА

САД В ОГНЕ
ЗАЦВЕТАЮЩЕМ
ВИЖУ

* * *

Я иду по деревне.
Деревня пуста:
Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста.

Всё уходит в песок:
Подрастают пески.
На песках-бодряках
Подрастают лески.

Мало нас среди этих
Лесков и болот:
Обесплотился
Дружбы народов оплот.

...Продираюсь, как ворог,
К деревне пустой.
Травостой вокруг избушек,
Густой травостой.

Детства, юности сны
Обступают меня,
Клеверами-коврами
Укрыв, полоня.

Подчиниться? Остаться?
Связать эту нить?
Только нас здесь не станут,
Чужих, хоронить.—

Мы чужие. И звук
Наших новых имён
Тонет в русских краях,
В дебрях чудских племён.

...Печь.
Дровищи, снежищи,
Сибирь. Холода.
Наши дети уже не приедут сюда?

Все ключи подо льдом:
Не отрыть, не открыть.
По-над миром моим
Зарастания пруть:

Ни старух, ни детей,
Ни крыла, ни хвоста...
...Я иду по деревне:
Деревня пуста.

* * *

Отревусь, отрекусь, отскандалюсь
И узлом свою жизнь завяжу.
Даже ночью мне снится усталость,—
Не живу: не могу. Ухожу.
Я с глазами открытыми брежу,
А с закрытыми — всюду брожу,
И всё реже, всё реже, всё реже
Я о чём-нибудь Бога прошу.
Мне пора. Некрасиво шагая —
Не по-женски, смешно, широко,
Ухожу безнадёжно другая
В новый мир — безнадёжно другой.
Мне пора: там красивая осень
Рыжиной выжигает дотла
Всё, что ветер из лета приносит,
Всё, что я на себе принесла...
Пусть с меня облетит позолота.

И, забыв обнищания страх,
Снова выучусь пенью по нотам
И по птицам на проводах.
Снова выучусь немногословью,
Тихим песням, где трепет и грусть,
И назад — с первобытной любовью —
В наше чёрное время вернусь.

* * *

Всё будет, как быть положено:
Не в молодости, так в старости.
...Трава умирать накошена,
А пахнет — медовой радостью.

Цветами и сладким запахом —
Уйти не спеши! — приковывает!
...Пока росла — жгла, царапала,
А скошена — лежит шёлковая...

Играючи ноги трогает,
И гладит, и шепчет ласково...
Пока росла — была горькая,
Скосили — и стала сладкая!

Скосили — и стала лёгкая,
Как в самой далёкой младости...
...Трава умирать накошена,
А пахнет — медовой радостью...

* * *

Гудят, лютуют оводы,
Репей еще не цвел,
И лук покуда молод, и
Шиповник розки свёл.

Но ветер травы трогает,
Пыльцу не бережет:
Зачем беречь? В том проку нет,
Что солнце пережжет...

...Пчелою чую чудное
Дыханье медовых,
Пчелою я лечу на них
И обираю их.

Когда-нибудь, когда-нибудь,
Когда зима придет,
Напомнит то летанье мне
Тугой, пахучий мед.

* * *

И вырос день, и ночи сношены,
Как юбка, короток февраль.—
Он никогда зимы порошами
Моих колен не прикрывал.
С души снега, как с крыши, стояли,
И стало холодно вдвойне:
— Оставь, весна! И так устала я
С собой участвовать в войне!
И мне не жаль того хорошего,
Что утонуло в стуже лет,
Ведь мне не жаль, что ночи сношены,
А жаль, что не о ком жалеть.

* * *

Молчаливые поссорятся —
К языкастому идут:
Помоги в междоусобице
Слово правое вернуть!
Мы и сами бы с усами бы,
Только мы — ни “ме”, ни “бе”,—
Ты бы так бы посусальнее,—
Посподручнее тебе!
Языкастый — вот старается,
Тарахтит и сяк, и так,—
Рассказать про все пытается,
Чтобы, значит, был контакт...
Есть контакт! — Дошло... Обидело!
Что молчалось — понял всяк!
...Языкастого завидели,
Да за хвост, да об косяк...
...Сколько шей еще намылитя
За подобный за дебют!
...Молчаливые помирятся,
Языкастого — убьют...

* * *

«Я несла свою беду
По весеннему по льду...»

На какую беду толкнула тебя — не помню,
От какой беды отмолила тебя — не знаю.
Может, в счастье полное пустословлю,
Пустозвонами жизнь твою пустославлю?

По весеннему по льду —
И куда же я иду?

Может, слушая плачи мои, ты, скучая, скажешь,
Что живёшь хорошо, и про беды про те не знаешь...
Или я совершила всех бед наших тайных кражу,
И сегодня ташу одна я все беды наши?

...Я несу свою беду, я несу твою беду,—
Как бы лёд не проломился, если я к тебе пойду....

ТИХО И ПРОСТО

Чайник поставила,
печку топлю,
В камень скрутилась, стгорая, берёста.
С кем это было:

«ревную», «люблю»?
В пламени — остов.

Чай с шоколадкой
и трёп в эсэмэс,—
Фразы изысканны,
смыслы наивны...

Кто в именительном?
Пусто. Парез.
Нет у разлюбленных
права на имя.
Ровно объаты поленья в печи
В форме прошедшего времени пылом.
Выхватить имя, обжегшись? — Молчи!
Всё это — было и сплыло!

Сплыло, мой нежный... Салют кораблю!
Непостижим его путь до погоста.
Остовом прошлого — печку топлю,
Тихо и просто.

* * *

Я давно не смотрела в огонь,
Я живу в батарейной прохладе,
И зимы ледяная ладонь
Всё смелей мои волосы гладит.

Всё спасенье моё — семена
Прошлогодней календулы рыжей:
Я себя в тот обман замая,
Сад в огне зацветающем вижу.

Сад пылает — а мне нипочём!
...Сад багряные листья бросает...
Мне в осеннем саду горячо,
Я по огненным листьям — босая...

НАШИ МОЛОДЫЕ

На прошедшем в Центре В. И. Белова в Вологде литературном семинаре молодых авторов было представлено 40 работ начинающих литераторов из Вологды, Череповца, Харовска, Сокола и других городов области. Сегодня «ВЛ» публикует первые прозаические опыты двух авторов: Ильи Лебедева и Софьи Гоголевой. Прозаические миниатюры Ильи Лебедева отличаются образным мышлением, поэтическим настроем, индивидуальной словесной мелодией. Рассказ Софьи Гоголевой привлекает цельностью стиля и живым чувством рассказчика. Жизнь все расставит по своим местам, только она определит, станут ли юные прозаики литераторами. Надеемся, что они сумеют сохранить в себе беспокойство и трогательную чистоту души на долгие-долгие годы.

Редакция «ВЛ»

Илья ЛЕБЕДЕВ

МАЙСКАЯ ИСТИНА

ВЕСНОЙ, особенно в мае, время как будто молодеет. Проносится оно лихим наездником, остается сладостным воспоминанием.

Яблоневый сад, окруженный прудами, смущенно жмется к березовой роще. Юная травка робко показывает нежную зелень небу, деревьям и птицам.

Я лежу в тени раскидистой яблони и черчу воображением причудливые фигуры облаков. Душисто пахнут молодые яблоневые цветы. В синеве пасутся бегемоты, слоны и лошади; выглядывают из-за горизонта люди, раздутые, как сочный арбуз. Внешние птицы щебечут в мелколистных кронах, и воздух звенит от веселых рулад. Я люблю птиц. Они как люди, только умеют летать.

Начало мая часто прохладно, а конец — не отличишь от лета. Видно, такая в России погода, что за оттепелью следует жара.

Неуловимый май. Он, как грозный и опасный зверь, что скрывается в лесах. Всякий охотник желает заполучить его шкуру, но удача улыбнется лишь одному.

Лежу. Ньютоново яблоко не спешит упасть мне на голову — просветление затаилось, истина отступает. И, скажите на милость, откуда в средней России яблоки в мае? Откуда великие мысли в обыкновенной человеческой голове, не искушенной науками, житейским опытом? А иной раз хочется и великих мыслей, и чудес, и яблок...

Но глянь в небесную синь! Услышь говор птиц, радующихся весне! Ощути прохладное прикосновение ветра! Разве это не истина?

АЛЁША И МАРФА

НАС согревает тёплое дыхание лошади, её резвый летящий бег...

Облака — те же кони, они пасутся в густой синеве неба, сбиваются в стада и мчатся в далёкое лето. За ними несутся табуны земных скакунов...

Бывает так, что люди связаны с лошадьми так же крепко, как те — с облаками. Алёша живёт в глухой деревне, где старики доживают свой век.

Лошади для мальчика — лучшие друзья. Больше всего он любит пегую кобылку

Марфу. Алёша носит ей из деревни овёс и чешет гребешком гриву, а она катает его по полю и ластится к нему. Они часто отдыхают вместе.

Особенно любят Алёша с Марфой вечером глядеть на занесённое облаками небо. Прилягут на стог сена и смотрят вдаль, Алёша кормит лошадку яблочком, а та всё мотает хвостом да сопит. И тоже вдаль смотрит. А мальчик мечтает: о небе, о звёздах, о полете. И Марфа мечтает о чём-то. Глядит на небо и радуется.

И следующей ночью Алёша спит на печке и видит сны. Там, в этих снах, он седлает белогривых небесных лошадок и мчится по бесконечному полю, и ему хорошо.

И, наверное, Марфочка тоже видит такие сны, где она скачет вместе с небесными лошадками, легкими и прекрасными, по пастбищам и лугам самого Господа Бога...

Софья ГОГОЛЕВА

ДОМ НА КРАЮ ДЕРЕВНИ

СЕГОДНЯ утром опять старый Прохор проезжал по деревне на своей ломаной телеге. И летом, и зимой, всегда он одет в старый поношенный тулуп, на ногах старые валенки. Его кобыла Маруса совсем уж гривой заросла, глаз не видно: челка длинная. Того и гляди, утечет совсем с морды. И ноги медленно-медленно так переставляет, будто через силу идет. А он сидит камнем, глаза упрет в землю, так и едут.

Каждое утро старик ездит в село Кубенское, что за 5 верст на восток. Поговаривают, на почту. Письма ответного ждет, да нет его никак. Дети взрослые в городе живут припеваючи, радуются, а он внуков своих увидеть никак не может. Ума никак не приложу — отчего ж они отца-то своего сторонятся? Неужто занятые они такие? Время у нас сейчас простое, маменька говорит, девятнадцатое столетие, помощь всем нужна. Вот буду я взрослой, и маму с собой возьму в город. Надо же всем быть этими... как его... светскими людьми, вот!

Мы вчера с Нюркой на озеро бегали, хоть и холодно до жути весной. До озера по дорожке идти очень долго, по болотной жиже,

если напрямик — еще дольше. Так вот, добежали мы до озера, все грязные, уставшие, а там спуск крутой вниз. Камни — острый булыжник. Все изохались, пока спускались. А там внизу на лодке, что у воды, Прохор сидит себе тихо с удочкой и смотрит пустым взглядом на кусты, что затопило разлившимся озером. Борода у него густая-густая, спутанная, некогда черная, а теперь с проседью. Он дома редко бывает, все чаще тут сидит, поэтому и кожа у него — коричневая, а не белая, как у нас. Или не поэтому такая, я не знаю. А еще у него глаза странные, ярко-голубого цвета. Никогда таких чудных глаз не видывала. И глядят странно так, как будто насквозь просматривают. Когда Прохор сердится, то глаз почти не видно — брови густые, а потом и борода сразу. Но он редко сердится, очень.

Последний раз было, когда он Витьку Паутова увидал, когда тот гнездо свиное сбить пытался, что на сосне недавно те свили. Помнится, тогда он к нему, к Витьке, то есть, подлетел, за ухо хватить, да как начнет трясти! И тихо-тихо так говорит: «Не тобой сделано, не тебе рушить». Ладно бы, закричал еще, заругался, а тут спокойно так сказал. Витька Паутов с тех пор Прохора побаивается.

Да и вообще его в деревне нашей как бы стараются не замечать. Я когда маму спросила, почему, она непонятно ответила: горе, мол, любого слепит и глушит. Когда я спросила, что, мол, за горе, она отмахнулась и ушла к курам.

Их недавно новых купили, молодые, худенькие, кормить и кормить их еще. А я слова ее не забыла, нет. Мне интересно стало, отчего так — человек есть, а людям думать хочется, что нет его вовсе. Ведь это обязательно должно быть, чтобы человека кто-то любил. Ну, хоть бы кто-то один! А то это несправедливо получается.

Я когда Нюрке сказала, что о Прохоре узнать хочу побольше, та очень удивилась.

— Зачем он тебе сдался, этот Прохор? Сейчас апрель, подснежники в лесу — самое то. Ты ведь сама хотела идти их искать, вру разве?

— Говорила-то говорила, а Прохор как же?

— Так и поделом ему! Не говорит никогда ни с кем, к старосте не ходит, в толоке не участвует. Вышел хоть бы ради виду: граблями помахать, картошку покопать. Вон этой осенью хотя бы! Баба Маша уж сильно старенькая, а внуков кормить надо. Староста, помнишь, всех к ней помочь собирал? Славная толока была, за три дня весь урожай сняли, все к зиме ей подготовили. А какой чай был...— Нюрка аж глаза закатила.— А он единственный не пришел. Какой от него прок?

— И что же, не любить, забыть его после этого?

Всю весну я выгадывала день, когда можно было бы к нему сходить. Дом у него на окраине стоит, старый, покосившийся. Не сказать, что сильно далеко от всех остальных, но все равно, будто одинокий такой, печальный.

Жизненные дали для нас, по сути, только начинались».

Может быть, сиротство и несчастная любовь сделали юношу философом, а может, нечто иное скрывалось в его поэтической натуре: «Все проходит, проходит и жизнь» (стихотворение «Соловьи»).

Рядом с темами смерти, прощания, ухода, в его пока еще ученической лирике стала крепнуть тема бессмертия, вечности:

Я, юный сын морских факторий,
Хочу, чтоб вечно шторм звучал.
Чтоб для отважных вечно — море,
А для уставших — свой причал.
(«Я весь в мазуте, весь в тавоте...»)

— эта строфа из его ранней лирики воспринимается совсем иначе, если посмотреть на неё с этой точки зрения.

Самым загадочным стихотворением этого периода стали «Мачты»:

Созерцаю ли звезды над бездной
С человеческой вечной тоской,
Воцаряюсь ли в рубке железной
За штурвалом над бездной морской,—
Все я верю, воспрянувши духом,
В грозное свое бытие
И не верю настойчивым слухам,
Будто все перейдет в забытье,
Будто все начинаем без страха,
А кончаем в назначенный час

Наконец смогла я сбежать из дома, скажавшись, что к Нюрке пошла. Решила по главной улице не идти — увидит кто, мамане доложит еще, пошла стороной.

Так и вышло, что подошла я к дому Прохора не спереди, а сзади. Глянь на дверь — а он там стоит с бабкой Марьей. Говорили мне, нельзя подслушивать, да уж не потерпела я:

— Оставил бы ты это, Прохор,— она покачала головой.— Уж и лешему понятно, что не вернется он. Чего ему твои деньги? — В городе ведь жизнь совсем иная, нежели у нас. Там ему простор, там у него теперь все свое, зачем ему ты сдался, старый?

— Так как же это, Марья? Годков как пять всего как выучился тамошним наукам, про семью, про дом забыть? Светлана уже слегла от горя, а ему все мало! На похороны матери не приехать, что за невидаль такая? — голос Прохора сорвался. Я никогда не слышала, чтобы он громко говорил, а тут кричит.— Пишу ему: «Слышали, отец ты теперь. Как ладно будет, навестите хоть деда с бабкой, порадуйте внуками», а в ответ что? — «Занят, отец, некогда. Может, на Рождество соберемся». Мы ведь не принуждаем: птица вольная, живи, где вздумается. Эх, дети. Такая благодарность ли?

Бабка Марья, все так же покачивая головой, ушла. А у меня внутри будто что-то оборвалось. Будто что-то внезапно открылось мне огромное, страшное.

И такого раньше я еще не чувствовала. Зреет во мне это чувство, будто распирает грудь изнутри, вырваться просит. Черное, оно засасывало меня, как трясина, пока я бежала, спотыкаясь об каждый камень, домой. В глазах темнело от жгучих слез, так обидно и тягостно мне было. Представилось мне, что вот рашу я своих детишек, люблю их, что есть сил. Красивые они, ладные все, каждый особенный. Рашу, не жалая сил, оберегаю, будто медведица бурая. За каждого готова вступить, за каждого жизнь отдать готова. А потом они уходят. Навсегда уходят от меня. И не слышу я их, не вижу. Будто огромная важная часть меня просто исчезла.

И тогда мне стало по-настоящему страшно. Даже не так, не страшно. Мне стало очень жутко. Я сидела в горнице, обняв руками колени, и горько плакала.

А потом Прохор умер. Тихо так умер, сидя на берегу озера и держа в руках удочку. И похоронили его тихо. Я все ждала, что из города примчатся его дети, внуки и поймут, какие они были глупые, что не успели вовремя, что не пожили с отцом, не помогали ему. Но никто не приехал и, как видимо, не понял. И в деревне забыли его быстро, будто и не было его вовсе. В дом поселилась другая семья, из соседней деревни, у них дом сгорел, а староста отказать не мог: все равно дом пустой стоит. Они дом отстроили, покрасили.

Красивый стоит — загляденье. И не скажешь, что там раньше кто-то другой жил. Тем более, старый Прохор с потрепанной кобылой Марусей.

Так, может, и не было его вовсе...

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

«Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ...»

Тема смерти и бессмертия в поэзии Николая Рубцова

«ПОЭТУ необходимо думать о смерти, и только памятуя о ней, поэт может особенно остро ощущать жизнь»,— говорил Сергей Есенин. Смерть вошла в судьбу Николая Рубцова почти с самого её начала: умерла его мать и две сестры, отец пропал на фронте, и Рубцов много лет считал, что «на войне отца убила пуля», пока не встретился с ним в Вологде в 50-х годах.

Романтическая «тема моря», о которой писал сам Рубцов, смыкается в его ранней лирике с темой смерти постоянно:

Прямо в сердце врывалось силой
Красоты, бурлившей вокруг.
Но великой братской могилой
Мне представилось море вдруг.
(«Море»)

Даже в стихах, написанных на заказ и публиковавшихся во флотских газетах, она

заявляет о себе со свойственной юному поэту категоричностью:

Ничего нет врага ненавистней!
Тот, кто смело врагов истребляет,
Никогда не уходит из жизни,
Если даже в бою погибает!
(«Сердце героя»)

Философские размышления о бренности мира («О земле подумаю, о небе, / И о том, что все это пройдет») резко отличались от бесшабашного матросского веселья в редкие часы отдыха. По воспоминаниям Валентина Сафонова, друга Рубцова, ставшего впоследствии писателем, «очень уж не вязалась печальная наполненность этих строк с образом автора — жизнерадостного моряка... Кто из нас, двадцатилетних, мог всерьез воспринять строки о памяти, что «отбивается от рук», о молодости, что «уходит из-под ног»?

Тем, что траурной музыкой Баха
Провожают товарищи нас.

Это кажется мне невозможным.
Все мне кажется — нет забытья!
Все я верю, как мечтам надежным,
И делаю, и мечтаю бытия.

Подобное заявление в условиях государственного атеизма само по себе было вызовом, но для Рубцова, искавшего истину, не это было главным — еще до службы на флоте будущий поэт познакомился с Библией, читал труды Гегеля, Канта, Аристотеля, Платона...

Зрелая лирика Николая Рубцова буквально пронизана насквозь данной темой, превратившейся в настойчивый мотив. Его лирический герой чувствует «смертную связь» с Родиной, видит «неспокойные тени умерших», покойную мать (стихотворение «В горнице»), слышит «незримых певчих пенье хоровое» и воспринимает смерть как естественное продолжение жизни души:

И эту грусть, и святость прежних лет
Я так любил во мгле родного края,
Что я хотел упасть и умереть
И обнимать ромашки, умирая...
(«Над вечным покоем»)

Здесь нет самолюбования, позы, искусственности чувства,— есть совершенное

• Окончание на 10-й стр.

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

«Я ЛЮБЛЮ СУДЬБУ СВОЮ...»

• Окончание. Начало на 9-й стр.

понимание бессмертной сущности любви. Поэт так рад этому пониманию, что готов поделиться им со всеми: «Поверьте мне: я чист душою», «Я клянусь: душа моя чиста».

Незримое присутствие Бога ощущается в зрелых стихах Рубцова постоянно, в стихотворении «Русский огонёк» он говорит о Нем естественно и просто: «Дай Бог, дай Бог...» Лексика этого периода насыщена библеизмами и производными от них: «божество», «ангел», «молитвы», «крест», «светлая весть», «вечный покой», «дьявольская сила», «молитвенный обряд», «святая обитель», «небесный свет», «Божий храм», «свеча»... Его «скромный русский огонёк» горит «как добрая душа» — в православной традиции горящая свеча — символ краткости земной жизни.

Размышления о связи смерти и бессмертия в стихотворении «В святой обители природы» завершаются так:

И неизвестная могила
Под небеса уносит ум,
А там — полночные светила
Наводят много-много дум...

О содержании этих дум можно только догадываться — цензура не позволяла раскрывать такие темы глубоко. Впрочем, для Рубцова она не стала таким уж серьёзным препятствием, он использовал иносказание, подтекст, символику, и не прогадал: «Кто мне сказал, что надежды потеряны? / Кто это выдумал, друг?» А вот и прямое его заявление:

И думаю я — смейтесь иль
Не смейтесь —
Косьбой проворной на лугу
Согрет,
Что той, которой мы боимся,— смерти,
Как у цветов, у нас ведь тоже нет!
(«Ночь коротка. А жизнь,
как ночь длинна...»)

В стихотворении «Видения на холме» поэт говорит о любви к России «навек, до вечного покоя» — явное православное миропонимание бессмертия. Рубцов подтверждает и известную евангельскую мысль («У Бога все живы»): «Здесь каждый славен — мёртвый и живой!» («Старая дорога»). Личный уход, считает поэт,— лишь часть общей нашей судьбы:

Боюсь, что над нами не будет
тайнственной силы,
Что выплыв на лодке,
повсюду достану шестом...
(«Я буду скакать по холмам
задремавшей отчизны...»)

Характерное замечание лирического героя: «без грусти дойду до могилы», многократно повторённое в его поэзии, свидетельствует о силе веры, убеждения в том, что и в жизни, и в смерти есть свой высший смысл. Николай Рубцов, полагаясь на волю Божью, не боялся смерти — это подтверждает не только его философская лирика, но и стихи бытовые, шуточные, ироничные:

Слез не лей над кочкою болотной
Оттого, что слишком я горяч,
Вот умру — и стану я холодный,
Вот тогда, любимая, поплачь!
(«Слез не лей»)

Если бы цензоры по-настоящему вчитывались в некоторые «проходные» стихотворения Рубцова, то они пришли бы в ужас! Гомерический хохот вызывал у читателей стих о покорителях космоса:

Люди! Славьте во все голоса
Новый подвиг советских героев!
Скоро все улетим в небеса
И узнаем, что это такое...

Рубцовский шедевр «Философские стихи» полностью посвящен теме смерти и бессмертия. Начинается он с укора умирающему человеку, создавшему в жизни «ложный облик счастья», полный довольства и славы, а заканчивается отказом от осуждения: «Мы по одной дороге ходим все...», осознанием неизбежного собственного конца («Когда-нибудь ужасной будет ночь») и пониманием смерти как Божьей милости и даже счастья:

Но я пойду! И знаю наперед,
Что счастлив тот, хоть с ног его сбивает,
Кто все пройдет, когда душа ведет,
И выше счастья в жизни не бывает!

В сборниках «Душа хранит» (1969) и «Сосен шум» (1970) пронзительно звучала трагическая тема — Николай Рубцов словно прощался с этим миром. Посмертные книги, составленные самим поэтом: «Зеленые цветы» (1971) и «Подорожники» (1976), в которых впервые были опубликованы многие

неизвестные ранее стихотворения, еще более усилили это впечатление.

Предчувствие ухода ощущается во многих юношеских стихах Рубцова:

Неужели так сердце устало,
Что пора повернуть и уйти?
Мне ведь так ещё мало, так мало,
Даже нету ещё двадцати...
(«На душе соловьиной трелью...»)

Впервые фразу о своей смерти он легко-мысленно, полушутя-полусерьезно обронил еще в 1954 году в Ташкенте, когда ему было всего 18 лет: «Да, умру я! И что ж такого...». Десятилетие спустя у Рубцова вырвалось страшное предсказание: «Когда-нибудь ужасной будет ночь». Думы о собственном конце преследовали его постоянно:

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки. (1967)

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя. (1968)

В стихотворении «Зимняя ночь» (1969) то ли «черный человек», то ли сама смерть зовет поэта:

Кто-то стонет на темном кладбище,
Кто-то глухо стучится ко мне,
Кто-то пристально смотрит в жилище,
Показавшись в полночном окне...

Здесь все серьезно. Все дышит предвещем небытия — не только упоминание о кладбище, не только классический символ смерти — ночь, но и указание на ее неопознанность и невозможность познания: «Есть какая-то вечная тайна / В этом жалобном плаче ночном». В «Элегии» (1970) чувствуется уже обреченность: «Отложу свою скудную пишу / И отправлюсь на вечный покой». И, наконец, указана дата:

Я умру в крещенские морозы...

Стихотворения, посвященные поэтам, также поднимают тему гибели («Сергей Есенин», «О Пушкине», «Дуэль», «Памяти Анциферова», «Последняя ночь») но, что удивительно, в понимании Рубцова преждевременная смерть — это тоже Божья милость:

Уже давно,
Как в Божью милость,
Он молча верил
В смертный рок.
(«Дуэль»)

Пророческие видения, как уже говори-

лось, появлялись в стихах Рубцова неоднократно, даже с указанием места:

Мое слово — верное,
Мои карты — козыри.
Моя смерть, наверное,
На Телецком озере.

Но самым известным произведением из этого ряда стало стихотворение «Я умру в крещенские морозы...» На предсказание даты собственной гибели все обращают внимание — это, действительно, редчайший случай не только в русской, но и в мировой поэзии,— но содержание стихотворения на самом деле жизнеутверждающее: гроб разобьется, усопший встанет из могилы — совсем как в евангельском откровении! А концовка стихотворения и вовсе не оставляет никаких сомнений: «Я не верю вечности покоя!»

О духовных причинах гибели Николая Рубцова говорить сложно, да и вряд ли мы имеем на это право, но сам поэт оценивает свой жизненный путь весьма жёстко:

Почему мне так не повезло?
По ночам душе бывает страшно
Оттого, что сам себе назвал
Много лет провел я бесшабашно.

Еще одно предсказание смерти, причем в деталях, поражает:

Как жаль, что я умру
совсем бесславно,
А может, я с достоинством умру?

Так и случилось, обстоятельства смерти поэта всегда будут вызывать вопросы.

Тема смерти и бессмертия в поэзии Николая Рубцова возникла не по прихоти автора, а по воле Божьей: «О чем писать? / На то не наша воля!» И относиться к его ранней смерти надо смиренно, по примеру самого поэта. Дело ведь не в том, сколько ты протянешь на этой земле, а в том, как ты проживешь, что оставишь людям:

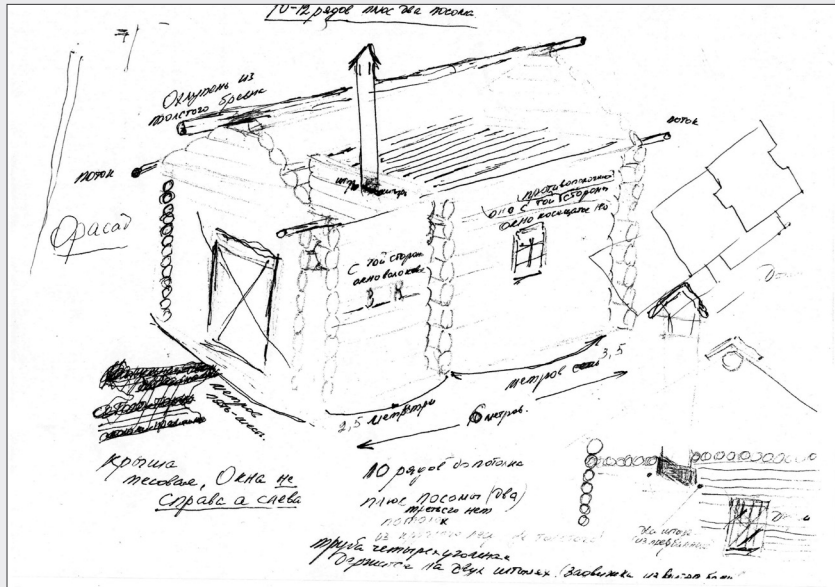
Можно жить и лёжа на полотах,
Бить баклуши хоть до сотни лет.
Жизнь моя, промчись же,
Как торпедный катер,
Оставляя за собою
Бурный след!

(Н. Рубцов)



Виктор БАРАКОВ,
лауреат Всероссийской
премии имени Н. М. Рубцова
«Звезда полей»
доктор филологических наук,
член Союза писателей России

Знаменитая литературная баня Василия Ивановича Белова сгорела осенью 2002 года. Вскоре, при поддержке вологодского градоначальника Евгения Шулепова, баню «по-чёрному» срубили заново по чертежам, которые Василий Иванович начертил собственной рукой, указав размеры, количество рядов в срубе, «охлупень из толстого бревна», а на обороте листа написал пояснения, отметив, что «особенно важно как будет сделана труба и окошки. Одно волоковое, в предбаннике второе косящатое». Чертеж бани с пояснениями Белова сохранил и передал в редакцию депутат Государственной Думы Е. Б. Шулепов.



Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

БАНЯ БЕЛОВА

1

В наилучшем совсем состоянии своем Я ехал к Белову в родительский дом. Он сам торопился, Василий Белов, Под свой деревенский единственный кров. И гнал свой «уазик» с ухваткой крестьянской. Сначала — по гладкой, а дальше — по тряской. Везли мы с собой не гостинцы, а хлеб... И ехали с нами Володя и Глеб. Володя, в свой край нарастающую влюбленный, И Глеб, присмиривший, с душой затаенной... В начале пути нам попалась столовка, Где жалко себя и за друга неловко.

Каких-то печальных откушали шей И двинулись дальше дорогой своей... И вот предо мною зеленый простор Величье свое бесконечно простер. Стояли леса, как недвижные рати, В закатном застывшие северном злате. Сияли поля далеко и прозрачно... Но было душе неуютно и мрачно. Бескрайние эти великие дали Мне душу безмолвьем своим угнетали, Я видел, как дол расстился за долом, Какой-то сплошной тишины заколдован. И реки пустынные — Кубена... Сить... Здесь некому вроде и рыбу ловить. Среди их привольно катящихся волн Хоть чья бы лодочка, хоть чей-нибудь челн!.. Густела в полях вечерующих мгла, И странные нам попадались дома. Они величаво из мглы возникали, Как будто их ставили здесь великаны. Наверное, ставили их на века — Такая во всем ощущалась рука. Такое надежное крепиче бревен... Но облик их был и печален, и темен. Ни света из окон, ни дыма из труб, Безмолвен был каждый покинутый сруб. И мрачно они средь полей возвышались. Куда же хозяева их подевались?! Но каждый об этом угрюмо молчит... И молча мы едем в глубокой ночи... Но вот наконец нас хозяин привез В деревню свою под сиянием звезд.

2

По-черному топится баня Белова, Но пахнет березово, дышит сосново. На вид она, может быть, и неказиста, Зато в ней светло, и уютно, и чисто. Когда в ее недрах всколышется жар, Она обретает целительный дар. Она забирает и тело, и душу, Все недуги их извлекает наружу. Любую усталость, любой твой кошмар Вбирает в себя обжигающий пар. И, весь разомлев, ты паришь невесомо, Забыв, что творится и в мире, и дома. И с пышущей полки встаешь, обнажен, Как будто бы заново в мире рожден.

Как будто бы весь начинаешься снова... По-черному топится баня Белова.

3

И светлая взору предстала деревня, Живая деревня в краю этом древнем. Из сказки забытой, казалось, возник Ее отуманенный временем лик. Темнели на избах высоких узоры, И окна синели, как жителей взоры. Распахнутый миру — входи на порог! — Под небом пустынным жилой островок. Казалось, один он остался на свете. Затем лишь, чтоб путника в мире приветить. Хоть много чего сохранить не смогла, Но душу деревня еще сберегла. Наверно, веками она не иссякнет, Раз вынесла столько погибели всякой. Наверно, веками она не исчезнет, Раз столько еще и добра в ней, и чести. Раз детская чья-то головка одна С таким любопытством глядит из окна. Раз может еще так глазами сиять Анфиса Ивановна, Васина мать... И сразу просторы исполнились смысла, И небо над нами иначе нависло, И дали, что с новой встречаются далью, Уже не дышали такою печалью. Все сделалось радостней, стало прочней Земля при деревне, и небо при ней! И мир не казался уже сиротою Со всей необъятной своей широтою. К деревне ведет и тропа, и дорога. Еще так богата земля, и так много И сил, и красоты у земли этой древней... Доколе лежать ей, как спящей царевне, Доколе копить ей в полях своих грусть, Пора собирать деревенскую Русь! Пора возродить ее силу на свете — Так пели и травы, и листья, и ветер. Так думало поле, и речка, и лес, И даль, что смыкается с далью небес. Так думал, наверно, Василий Белов, Что вел нас по отчому краю без слов. Пора! — это Времени слышно веленье — Увидеть деревню свое возрождение. А все, что в душе и в судьбе наболело — Привычное дело, привычное дело.

Я РОВЕСНИК века, 1900 года рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии. Мои предки — землеробы. Не от сладкой жизни мне пришлось в 12 лет уехать из родительского дома в Питер на заработки и испытать эксплуатацию капиталистов. Моя последняя специальность — слесарь шпорной мастерской.



К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

ЧТО СКАЗАЛ МАРШАЛ ЧУЙКОВ ЛИБЕРАЛУ СОЛЖЕНИЦЫНУ

Никогда не думал быть профессиональным военным. И если бы был призван в царскую армию, мой высший потолок по званию был бы солдат или матрос, как у моих четырех старших братьев. Но в начале 1918 года я по призыву партии Ленина добровольцем пошел в Красную Армию на защиту своего родного Отечества рабочих и крестьян. 56 лет состою в кадрах Советской Армии. Имею звание Маршала Советского Союза.

Коммунист с 1919 года. Участник Гражданской войны, с 19 лет командовал полком. Участник многих сражений с белогвардейцами и интервентами на Южном и Западном фронтах до начала 1922 года. После гражданской до Великой Отечественной войны также сражался против тех, кто хотел прощупать штыком мощь наших Вооруженных Сил. Когда я прочитал в «Правде», что в наши дни нашелся человек, который победу под Сталинградом приписывает штрафным батальонам, не поверил своим глазам.

Мне известно, что А. Солженицын — лауреат Нобелевской премии. Я не вникаю в то, какие обстоятельства способствовали присвоению ему этого звания. Но звание лауреата Нобелевской премии ко многому обязывает. На мой взгляд, оно несовместимо с невежеством и ложью.

Передо мной на столе книга под названием «Архипелаг Гулаг», автор А. Солженицын. Не знаком с Солженицыным, который, оперируя выдуманными «фактами» (попробуй проверь их!), снабжает врагов мира и прогресса потоком лжи и клеветы на нашу Родину и на наш народ.

Не могу перенести такой клеветы. Клеветы на армию, которая спасла человечество от коричневой чумы и которая заслужила благодарность всех прогрессивных людей мира.

Наша армия — детище своего народа. Оскорбление армии — это величайшее преступление перед народом, который породил и воспитал ее для защиты от врагов и недругов.

На странице 90 книги «Архипелаг Гулаг» Солженицын пишет: «Так очищалась армия Действующая. Но еще была огромная армия бездействующая на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии — была благородная задача особых отделов. У героев Халхин-Гола и Хасана при бездействии начали развязываться языки, тем более что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтяревские автоматы и полковые минометы. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на Западе отступаем».

Неужели вам, Солженицын, и вашим западным друзьям и шефам неизвестно, что Дальневосточной армии, которую вы называете «без-

действующей», после гражданской войны и интервенции пришлось трижды отбивать нападение врагов, которые штыками прощупывали мощь нашей Красной Армии и всего Советского Союза? Неужели вы забыли бои на Дальневосточных границах в 1929, 1938 и 1939 годах?

Солженицын выдает чаяния таких западных и восточных деятелей, как Чемберлен, Даладье, Гувейр, Чан Кайши и других, которые в 30-е годы из кожи лезли, стараясь натравить на нас японских самураев и тем самым за счет территорий Советского Союза удовлетворить алчные аппетиты империалистической Японии.

Я знаю, что в 1941 и 1942 годах японская Квантунская армия два раза развертывалась у наших Дальневосточных границ в полной готовности для нападения. Первый раз Квантунская армия сосредоточилась и развернулась для нападения осенью 1941 года в период битвы под Москвой. Разгром гитлеровцев под стенами нашей столицы охладил воинственный пыл самураев. Они вынуждены были вернуть свои войска с границы на зимние квартиры.

Второй раз эта же, но более усиленная, армия приготовилась к нападению осенью 1942 года, когда шла битва на Волге, у стен Сталинграда. Квантунская армия ждала сигнала для нападения.

Сигналом должно было стать падение Сталинграда.

И в этом случае Сталинград выстоял, и японская военщина, имея перед собой нашу Дальневосточную армию и наученная горьким опытом Хасана и Халхин-Гола, не посмела напасть на нас и тем самым открыть против нас второй фронт на Востоке.

Вы, Солженицын, и ваши зарубежные шефы, по-видимому, очень бы хотели, чтобы Советское правительство и народ защищали свои Дальневосточные границы пактом о ненападении, заключенным с Японией в марте 1941 года, который в руках агрессоров был не больше чем клочок бумаги.

Вы умалчиваете, умышленно не хотите сказать о мудрости руководства Советского правительства и Ставки Верховного Главнокомандования, которые, несмотря на козни империалистических правительств, громили врагов по очереди. Прежде всего, разгромили полчища Гитлера, Муссолини, Антонеску и других на Западе, а затем, выполняя союзнические обязательства, нанесли сокрушительный удар Квантунской армии на Дальнем Востоке и тем самым поставили на колени империалистическую Японию.

Читаю дальше повествование Солженицына. На страницах 91 и 92 вижу: «В том же году, после не-

удач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (еще больше), в ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге — прокачан был еще очень важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять на смерть, и отступавших без разрешения, тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа № 227, Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, Гулага: ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента Сталинградской победы. Но в общероссийскую историю не попал, а остался в частной истории канализации».

Как могли вы, Солженицын, дойти до такого кощунства, чтобы оклеветать тех, которые стояли на смерть и победили смерть? Сколько надо иметь ядовитой желчи в сердце и на устах, чтобы приписать победу штрафным ротам, которых до и во время Сталинградского сражения не было и в природе. Вы злобно клеветаете на Советскую Армию и народ перед историей и перед всем человечеством.

Неужели вы и ваши шефы думаете, что все народы мира забыли, как они с затаенным дыханием следили за гигантской битвой, потому что ее исход отвечал на вопрос: пойдут ли гитлеровцы в своем стремлении к завоеванию мирового господства дальше или будут остановлены и повернуты вспять?

Ответ на этот вопрос дали мы, сталинградцы. Гитлеровцы не прошли. Были разгромлены их ударные силы, потому что нас цементировала партия Ленина.

Вам не нравится приказ Сталина № 227, который вооружал нас, всех бойцов, на беспощадное истребление врага. Но вы не знаете о двух предыдущих решениях и приказах Ставки Верховного Главнокомандования. Теперь уже не секрет: 6 июля, чтобы вывести войска Юго-Западного фронта из-под угрозы окружения, Ставка решила отвести эти войска на новые позиции. А когда создалась угроза окружения войск Южного фронта, Ставка 15 июля приказала отвести их на реку Дон.

Да, мы отступали, но отступали по приказу Ставки и в то же время усиливали своими резервами наиболее опасные направления. Отход наших войск по приказу Ставки на Дон так вскружил голову Гитлеру, его фельдмаршалам и генералам, что они уже считали Советскую Армию разбитой и бросили главные силы на Кавказ. Но когда опомнились и начали усиливать Сталинградское направление, то было уже поздно. Сталинградцы отбили более 700 атак отборных войск Гитлера, перемололи его людей и

технику, а затем нанесли сокрушительное поражение всем войскам на южном крыле советско-германского фронта.

Вам не нравится приказ № 227? Я это знаю. У вас в этом вопросе много единомышленников из генералов вермахта. Генерал Дёрр в своем труде «Поход на Сталинград» на странице 30-й пишет: «Приказ Сталина был характерен стилем изложения: отеческий тон обращения к солдатам и народу... Никаких упреков, никаких угроз... Никаких пустых обещаний... Он возымел действие. Примерно с 10 августа на всех участках фронта было отмечено усиление сопротивления противника».

В том же августе командир 14-го танкового корпуса генерал фон Витерсгейм доносил Паулюсу: «Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда... На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку... Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели».

Вы, Солженицын, возвели ложь и нанесли гнусное оскорбление тем войскам, которым рукоплескал весь мир, все прогрессивное человечество.

Я напому слова таких людей, которых чтит все человечество.

«Всероссийский староста», как мы любовно называли Михаила Ивановича Калинина, в своем обращении к богатырям Сталинграда писал: «За этот срок вы перемололи много вражеских дивизий и техники. Но не только в этом выражаются ваши достижения. Мужество бойцов и умение командиров в отражении врага сделали то, что инициатива противника в значительной мере была парализована на отдельных участках фронта. В этом историческая заслуга защитников Сталинграда».

Вы умышленно забыли о грамоте президента США Рузвельта, который писал: «От имени народов Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа оставила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союза наций против сил агрессии».

Сознаюсь, что болезненно переживаю оскорбление, нанесенное вами нам, сталинградцам. Говорю вам, потому что пережил двести огненных дней и ночей, все время

находился на правом берегу Волги и в Сталинграде.

Может быть, по-вашему, я, как штрафник, был назначен командовать 62-й армией, о заслугах которой наша газета «Правда» 25 ноября 1942 г. писала:

«В ходатайстве, где упомянуты армии, защищающие Сталинград, подчеркивается особая роль 62-й армии, отразившей главные удары немцев на Сталинград, ее командующего генерал-лейтенанта товарища Чуйкова В.И. и его главных помощников тт. полковника Горохова, генерал-майора Родимцева, генерал-майора Гурьева, полковника Балвинова, полковника Гуртьева, полковника Сараева, подполковника Скворцова и др., а также артиллеристов и летчиков».

По-вашему, Солженицын, ходит, что гвардейские дивизии Родимцева, Гурьева, Жолудева и других, состоявшие более чем на 50 процентов из коммунистов и комсомольцев, были «цементированы» штрафными ротами?!

Неужели боец-снайпер Василий Зайцев, уничтоживший около 300 фашистов и первым произнесший слова, которые воодушевили всех сталинградцев: «За Волгой для нас земли нет», — был штрафником или «цементирован» штрафниками?

Неужели сержант Яков Павлов и возглавляемая им группа бойцов разных национальностей, 58 дней и ночей защищавшие дом, который так и не взяли гитлеровцы, а положили вокруг этого дома своих трупов больше, чем при взятии французской столицы Парижа, неужели эти добрые защитники Сталинграда были «цементированы» штрафными ротами?

Неужели Люба Нестеренко, умирая, истекая кровью от раны в грудь, — в ее руках бинт, она и перед смертью хотела помочь товарищу, перевязать рану, но не успела, — неужели она тоже «цементировалась» штрафниками или была штрафником?

Неужели славный сын испанского народа Рубен Ибаррури был штрафником или «цементирован» штрафниками?

Мог бы привести сотни, тысячи примеров героизма и преданности всех сталинградцев своему народу и ленинской партии. Над этими героями вы, Солженицын, посмели издеваться, изливая на них потоки лжи и грязи.

Я снова повторяю: в период Сталинградской эпопеи в Советской Армии не было штрафных рот или других штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного бойца-штрафника. От имени живых и погибших в бою сталинградцев, от имени их отцов и матерей, жен и детей я обвиняю вас, А. Солженицын, как бесчестного лжеца и клеветника на героев-сталинградцев, на нашу армию и наш народ. Я уверен, что это обвинение будет поддержано всеми сталинградцами. Они все как один назовут вас лжецом и предателем.

Если хотите в этом убедиться, то поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев курган и посмотрите на непрерывный поток людей, паломников из многих стран, людей многих национальностей, идущих по лестницам, чтобы почтить память героев. И упаси вас Бог объявить, что вы — А. Солженицын!

ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском конкурсе современной прозы имени В.И. Белова «Всё впереди» (далее — Положение)

I. Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс современной прозы имени В.И. Белова «Всё впереди» (далее — Конкурс) — творческое мероприятие, направленное на увековечение памяти выдающегося писателя современности В.И. Белова и поддержку современных литераторов.

1.2. Конкурс проводится в рамках работы по увековечению памяти и популяризации творческого наследия В.И. Белова, и предусматривает выявление лучших творческих работ (проза) современных авторов.

1.3. Целью Конкурса является отбор лучших прозаических произведений (далее — Работы), отражающих глубокое понимание основ народной жизни.

1.4. Конкурс призван способствовать решению следующих задач:

выявление и поддержка талантливых прозаиков; популяризация средствами художественного слова идей классика отечественной литературы В.И. Белова: утверждение вечных ценностей — добра и красоты в повседневной жизни, любви к родной земле, уважения к семейным традициям.

1.5. Учредителями Конкурса выступают Правительство Вологодской области и Общероссийская общественная организация «Союз писателей России».

1.6. Организаторы Конкурса — Департамент культуры и туризма Вологодской области, Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

1.7. Решение организационных вопросов по подготовке и проведению Конкурса относится к функциям Комиссии по увековечению памяти и популяризации творческого наследия В.И. Белова, состав которой утвержден постановлением

Губернатора области от 6 июня 2013 года № 250 «О создании Комиссии по увековечению памяти и популяризации творческого наследия В.И. Белова».

1.8. Оценка Работ, предоставленных на участие в Конкурсе, производится Конкурсной комиссией. Состав Конкурсной комиссии утверждается Приложением 1 к настоящему Положению. Члены Конкурсной комиссии не могут являться участниками Конкурса.

II. Сроки проведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится в период с 1 февраля по 23 октября 2017 года в три этапа:

1 февраля — 6 июня 2017 года — прием конкурсных Работ; 7 июня — 1 сентября 2017 года — работа Конкурсной комиссии;

2 сентября — 20 октября 2017 года — издание сборника лучших Работ.

Подведение итогов Конкурса — 23 октября 2017 года в день рождения В.И. Белова.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Мануил СВИСТУНОВ

Мануил Алексеевич Свистунов (23.3.1937–14.1.2006) — уроженец дер. Лаврентьево Междуреченского района Вологодской области. Окончил Вологодский педагогический институт. Преподавал в школах родного района русский язык, литературу и историю, был директором школы, работал в Вологодском отделении Северо-Западного книжного издательства. Член Союза писателей России. Публиковался в региональных печатных изданиях и сборниках, журналах «Север» и «Наш современник». Серьезно занимался изучением истории и культуры Междуреченского района. В разные годы вышло несколько изданий со стихами, рассказами и очерками Мануила Свистунова: «Как перейти поле» (1986), «Спаси и помилуй, или Похвала трезвости» (1992), «Междуречье» (в соавторстве с Л.Л. Трошкиным, 1993), «Под северным грозным сияньем» (1999), «Утром в День Победы» (2002), «На ладони изначальной» (2012). Также он является автором-составителем нотного сборника «Любовь и нежность. Вологодские песни» (2001).



...ЗАКАТОМ ОЗАРЕННЫЙ, ЛЮБУЮСЬ НЕБОМ И РЕКОЙ

25 НОЯБРЯ 1998 ГОДА

Как Солнце бледное ослабло
Одно в закатной стороне!
И свет его, скупой и зяблый,
Изнемогает в вышине —
Уже болезненный, предзимний,
Перетекающий волной
Из бледно-розового в синий
И в сине-чёрный надо мной.

Былая воля, вера, где ж ты?
Ушла ль вперед, отстала с кем?
Такое чувство: нет надежды,
А свет висит на волоске.
Темно и тёмно в клетке тесной!
Но вновь пульсирует висок,
Когда ты вспомнишь, Чей над Бездной,
Чей держит землю волосок!

МАМА

В тугую тучу солнце село,
А я смотрю из-за угла:
Уходит мама в платье белом,
Навстречу ей — сырая мгла.

Сказали: правды захотела.
Ее искать — сойдешь с ума.
Уходит мама в платье белом,
А правда вся — она сама.

И волос выбелило мелом,
И горе-горькое при ней.

Уходит мама в платье белом,
Уходит двадцать тысяч дней.

А жизнь, как осень, пожелтела.
А я креплюсь от жгучих слез:
Уходит мама в платье белом,
И это, кажется, всерьез.

Да разве тут займешься делом,
Когда такое впереди:
Уходит мама в платье белом,
А я смотрю, куда идти...

ОЧАРОВАНИЕ

Хлопчут в тополях вороны,
Угомоняясь на покой.
А я, закатом озаренный,
Любуюсь небом и рекой.

На водной глади след узорный
Ослаб, размылся, истончал.
И только гаснущие волны
Сонливо хлюпают в причал.

А туч каемка золотая
Дотлеет скоро в темноте.
Последних бликов божья стая
Истаивает на кресте.

Созвучный общему явлению,
Сливаюсь в радостный покой
С восторгом умиротворенья,
С последним вздохом над рекой.

...Окинет утром луч червонный
Кресты и кроны, и причал,
И дрогнет там, где озаренный
Закатом, кто-то отзвучал.

ВОЛОГДА

На ладони изначальной,
Словно вздох лесов и вод,
Под покровом беспечальным
Наша Вологда живет.

Не роптала на обиды,
Берегла сирот и вдов
Сердцевина Фиваиды
Старорусских городов.

Мало ль что потом случится —
Будет наших отличать
Вера кроткая на лицах
Словно Божия печать.

Обустроим, изукрасим,
Заживет душа в тепле.
Пусть потомкам будет ясен
Подвиг предков на земле!

Но пока в кармане глухо,
А в суждениях пестро,
Надо спать всего вполоуха
И держать его остро!

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСИМ

Он пришел, собой прекрасен,
В нимбе солнечных лучей —
Инок праведный Герасим —
На Кайсаров на ручей.

Был в трудах своих бесстрашен,
В сменах инеев и рос,
Весь резьбою изукрашен,
Храм торжественно возрос.

И над всем окрестным раем
Изначалием начал,
Православье величая,
Медный колокол звучал.

Мы веками-волоками,
Кои помню и люблю,
Всесоборно принимаем
К вологодскому Кремлю.

Здесь земля в сияньи синем,
В ненаглядной красоте.
Как росиночка России,
Как рубин в ее кресте.

Сквозь любые неудобья
Победительно гудит,
Воплощенный Преподобным
Вечный благовест в груди.

МЫ

Мы не знали любовной науки,
Но сияло при встрече лицо,
И шептались несмелые руки.
Осиянные светом округи,
Мы вошли в золотое кольцо.

Незакатное солнце вставало!
И сквозными казались века.
За овалом сиренево-алым
В берегах красоты небывалой
Голубая катилась река!
...Уступает восторг непокою.
Исчезают из глаз миражи.
Всё иное за серой рекою.
Надвигается время лихое...
А ведь мы собирались пожить.

Но торопят нас дети и внуки.
Нас торопит само бытие.
Мы еще не знавали разлуки.
Мы еще испытаем ее...

ВЕСНА

Какая странная весна!
Пришла в слезах — и вдруг остыла,
Меня встряхнула ото сна —
То хмура, то опять ясна —
И обняла, и не простила.

Какая странная весна!
Всему, что было вяло, снуло,
Воды за шиворот плеснула —
И увернулась, как блесна.

А мой зачем печален взгляд?
Ужели счастья не хочу я?
Но... долго птицы не летят.
Наверно, заморозки чуют.

ИЮЛЬ

Ольге

В природе — время зрелой стати.
Светило знойное ее
Утонет хмуρο на закате —
С востока ясное встает.

И птицы вещие — зарницы —
Перелетают здесь и там.
Они вешают — озорницы —
Благополучие летам.

Так перекличка зоревая
Одолевает сонный рай.
Тут каждый колос вызревает —
И на престол дневной взмывает
Златого солнца каравай!

КАЖДЫЙ русский парень в возрасте примерно двадцати лет сталкивается с ситуацией воинской службы. Поэтому, мне кажется, слишком легко пописывать об этом, сидя в Западной Европе в удобном кресле, так как мне никогда не приходилось таскать автомат, выживать в тяжелых суровых климатических условиях, терпеть унижения, копаться в грязи, пытаться высвободить для себя крошечное личное пространство среди самодовольной агрессии и насмешливой жестокости. Патриотическая доктрина предполагает, что армия помогает найти настоящих друзей, служащих Отечеству. И как же, интересно? Вспоминается фраза из одного романа Пола Остера: «Не лезьте в Ирак за вдохновением и творчеством. Ничего подобного вы там не найдёте, лишь травмирующие тягостные воспоминания, которые будут терзать вас всю оставшуюся жизнь».

«Далёкий плач» — так называется сборник стихотворений Шадринова, вышедший через два с половиной года после трагедии. Мы слышим плач Иеремии по Шадринову. Следует ли нам попридержаться библейские аллегории? Так, Шадринов несёт крест — и также несёт на себе печать страдающего Каина: систему координат возвышенного. Он видит мир очень эмоционально, по-детски, но с сильными чувствами, осязающими каждую деталь природы. Его поэзия стремится к

Патрик ВАЛОХ:

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

(Об Алексее Шадринове)

универсальной сущности и конденсируется в божественный принцип категорического императива. Эта поэзия — божественная, словно написанная в адской армейской кухне кем-то тонким и хрупким с душой, подобной стеклышку, паутинке, утренней росе. Что там делает грубое слово, превращенное в грубую руку? — Оно уничтожает.

Шадринов чем-то напоминает Георга Тракля (1887–1914) в своей религиозной силе. Он уничтожил свои рукописи в огне, перед тем как пойти в армию. Кто не видит там экспрессии Гоголя со второй частью «Мертвых душ», или Настасьи Филипповны, которая стотысячную пачку рублей швырнула в камин? Но это ещё и типичное проявление юношеской экспрессивности. Георг Тракль, Сергей Есенин...

Меланхолия, что дышит в душе, не нравится ему, пребывающему в возвышенной скорби, стоящему в одиночестве в лесу и

обнимающему деревья с листьями, плывущими к земле по его волосам. Но чрезмерность, разрушительность, деструктивность невротической психики бродяги и божьего персонажа всё же отсутствует. Нет, Шадринов — приличный мальчик, Алеша Карамазов. Его поэзия остаётся неповрежденным, никогда не извергавшимся вулканом, потому что он дремлет в застывшем и тёплом состоянии. Как Алеша у Достоевского (которому едва исполнилось двадцать лет), он проводит жизнь в глубокой вере в сострадание, отречение и понимание, в то, что можно примириться с жизнью, будучи Гермесом. Гермесом, который превратил божественное послание в человеческие слова и принес их в мир. Но будем ответственными, так как хрупкая душа подвергается испытаниям — искушением и глумливым презрением. Алеша слишком хорош для этого мира, и поэтому должен принимать страдания на плечи свои.

Такие мелодичные элегии, магические акценты чистой аскетической неискренности, независимой подлинности и строгой классики можно найти лишь в Серебряном или даже в Золотом веке русской поэзии. С тем же самым детским удивлением и философскими размышлениями о смысле жизни пишет Николай Рубцов, поэт трагической судьбы, также ставший примером для лирика Шадринова. Он ослепляет богатым красноречием своей поэзии (действительно, сколько там цветочных эпитетов!), задумчивым любопытством. Траур подбирался к его глазам и лукавой улыбке, как капризный червь ползёт к губам... Скорбящая икона в доме, покрытая черными пятнами. Но мальчик-романтик Шадринов не одинок в этом мире многих жертв, канувших в Лету. Назовём имя одной из таких жертв: Кулдар К. Раднаск (1965–1985), эстонский поэт, добровольно ушедший из жизни в Советской армии. Причина: непереносимость жестокого обращения.

Шадринов создал альтернативный мир, спасительный рай плодородия природы, экзотической стойкости и сохранённой красоты, и предвосхитил в своей поэзии трагедию собственной судьбы. Так жестоко, так грустно, так красиво всё это.

Перевод
Стеллы и Бориса КУТЕНКОВЫХ
Австрия, Зальцбург

Адрес газеты: literator35.ru	Главный редактор А.А. Цыганов. Редакционная коллегия: С.П. Багров, В.Н. Баранов, М.И. Карачев, О.И. Ларионов, Ю.М. Максин, О.А. Фокина.	Тираж издания 1000 экз. В розницу цена свободная. Издание Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз писателей России».	Номер сверстан и отпечатан в ООО ПФ «Полиграф-Периодика». 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3. Зак. 1146. Подписан в печать по графику: в 12.00, фактически — 22.03.2017 г. в 12.00. Выход в свет — 24.03.2017 г.
Адрес электронной почты: ioann-7772006@yandex.ru	Редакция в переписку с авторами не вступает, рукописи не рецензирует и не возвращает, а также не имеет возможности выплачивать вознаграждение за опубликованные материалы.	Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, 36.	